

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

СТИХИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

[redacted]
Светлане.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

СТИХИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ



МУРМАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1974

Р2
С80

С $\frac{0763-029}{М 150(03)-74}$ 16—74

Люди!
Покуда сердца
                    стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста,
            помните!

Р. Рождественский. Реквием.

В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

●

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—
Идет война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—
Идет война народная,
Священная война!

1941

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

•

РАССКАЗ ТАНКИСТА

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.

Лет десяти — двенадцати. Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас, как дорогих гостей,

Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду ведрами — не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют...

Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперед.
А он гвоздит — не выглянуть из башен,—
И черт его поймет, откуда бьет.

Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился,— столько всяких дыр.
И вдруг к машине подбежал парнишка:
— Товарищ командир, товарищ командир!

Я знаю, где их пушка. Я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду...
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.

Что ж, бой не ждет.— Влезай сюда, дружище!—
И вот мы катим к месту вчетвером.

Стоит парнишка — мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырем.

Подъехали.— Вот здесь.— И с разворота
Заходим в тыл, и полный газ даем.
И эту пушку, заодно с расчетом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем.

Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шел большой пожар.
И, помню, я сказал:— Спасибо, хлопец! —
И руку, как товарищу, пожал...

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.

1941

АРМЕЙСКИЙ САПОЖНИК

В лесу, возле кухни походной,
Как будто забыв о войне,
Армейский сапожник холодный
Сидит за работой на пне.

Сидит без ремня, без пилотки,
Орудует в поте лица.
В коленях — сапог на колодке,
Другой — на ноге у бойца.
И нянчит и лечит сапожник
Сапог, что заляпан такой
Немыслимой грязью дорожной,
Окопной, болотной, лесной, —
Не взять его, кажется, в руки,
А доктору все нипочем,
Катает согласно науке
Да двигает лихо плечом.
Да щурится важно и хмуро,
Как знающий цену себе.

И с лихостью важной окурок
Висит у него на губе.

Все точно, движенья по счету,
Удар — где такой, где сякой.
И смотрит боец за работой
С одною разутой ногой.

Он хочет, чтоб было получше
Сработано, чтоб в аккурат.
И скоро сапог он получит,
И топай обратно, солдат.

Кто знает, — казенной подковки,
Подбитой по форме под низ,
Достанет ему до Сычевки,
А может, до старых границ.

А может быть, думою сходной
Он занят, а может — и нет.
И пахнет от кухни походной
Как в мирное время, обед.

И в сторону гулкой, недальней
Пальбы — перелет, недолет,—
Неспешно и как бы похвально
Кивает сапожник:
— Дает?
— Дает, — отзывается здраво
Боец. И не смотрит. Война.
Налево война и направо.
Война поперек всей державы,
Давно не в новинку она.
У Волги, у рек и речушек,
У горных приморских дорог,
У северных хвойных опушек
Теснится колесами пушек,
Мильонами грязных сапог.
Наломано столько железа,
Напорчено столько земли
И столько повалено леса,
Как будто столетья прошли.

А сколько разрушено крова,
Погублено жизни самой.
Иной — и живой и здоровый, —
Куда он вернется домой?
Найдет ли окошко родное,
Куда постучаться в ночи?
Все — прахом, все — пеплом-золою.
Сынишка сидит сиротою
С немецкой гармошкой губною
На чьей-то холодной печи.
Поник журавель у колодца,
И некому воду носить.
И что еще встретить придется —
Само не пройдет, не сотрется, —
За все это надо спросить...

Привстали, серьезные оба.
— Кури.
— Ну давай, закурю.
— Великое дело, брат, обувь.
— Молчи, я и то говорю. —
Беседа идет, не беседа,
Стоят они, курят вдвоем.
— Шагай, брат, теперь до победы.
Не хватит — еще подобьем.
— Спасибо. — И словно бы другу,
Который его провожал,
Товарищ товарищу руку
Внезапно и крепко пожал.
В час добрый. Что будет — то будет.
Бывало! Не стать привыкать!..
Родные великие люди.
Россия, родимая мать!

1942

ДВЕ СТРОЧКИ

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,—
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

1943

СЫНУ ПОГИБШЕГО ВОИНА

Солдатский сын, что вырос без отца
И раньше срока возмужал заметно,
Ты памятью героя и отца
Не отлучен от радостей заветных.

Запрета он тебе не положил
Своим посмертным образом суровым
На то, чем сам живой с отрадой жил,
Что всех живых зовет влекущим зовом...

Но если ты, случится как-нибудь,
По глупости, по молодости ранней
Решишь податься на постыдный путь,
Забыв о чести, долге и призванье:

Товарища в беде не поддержать,
Во чье-то горе обратить забаву,
В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать.
С недобрым другом поравняться славой,—

То прежде ты — завет тебе один,—
Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын.

1949—1951

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

●

КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!

Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые только в тяжелом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою.

Я давно понимаю
Военный устав
И под выкладкой полной
Не горблюсь давно.
Но, страницы устава до дыр залистав,
Этих слов
До сих пор
Не нашел
Всё равно.

Год двадцатый,
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны. Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб,—
И не встать под огнем у шестого кола.

Полк
Шинели
На проволоку побросал,
Но стучит над шинельным сукном пулемет,
И тогда
        еле слышно
                сказал
                        комиссар:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

Есть в военном приказе
Такие слова!
Но они не подвластны
Уставам войны.
Есть —
Превыше устава —
Такие права,
Что не всем
Получившим оружье
Даны...

Сосчитали штандарты побитых держав,
Тыщи тысяч плотин
Возвели на реках.
Целину подымали,
Штурвалы зажав
В заскорузлых
Тяжелых
Рабочих
Руках.

И пробило однажды плотину одну
На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре.
И пошли головные бригады
Ко дну,
Под волну,
На морозной заре,
В декабре.

И когда не хватало
«...Предложенных мер...»
И шкафы с чертежами грузили на плот,
Еле слышно
сказал
молодой инженер:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

Летним утром
Граната упала в траву,
Возле Львова
Застава во рву залегла.
«Мессершмитты» плеснули бензин
в синеву,—
И не встать под огнем у шестого кола.

Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях
Закопанных в пашни КВ
Высыхали тяжелые капли дождя.

И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лед.
И тогда
          еле слышно
                    сказал
                         командир:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка...

Под февральскими тучами
Ветер и снег,
Но железом нестынущим пахнет земля.
Приближается день.
Продолжается век.
Индевеют штыки в караулах Кремля...

Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного невпроворот,
Сквозь века
          на века,
                    навсегда,
                         до конца:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

МУСА ДЖАЛИЛЬ

●

ПРОСТИ, РОДИНА!

Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою.
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в жарком бою.

Кто посмеет сказать, что я тебя
предал?
Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек?
Волхов — свидетель: я не струсил,
Пылинку жизни моей не берег.

В содрогающемся под бомбами,
Обреченном на гибель кольце,
Видя раны и смерть товарищей,
Я не изменился в лице.

Слезинки не выронил, понимая:
Дороги отрезаны. Слышал я:
Беспощадная смерть считала
Секунды моего бытия.

Я не ждал ни спасенья, ни чуда.
К смерти взывал: — Приди! Добей!..—
Просил: — Избавь от жестокого
рабства!—
Молил медлительную: — Скорей!..

Не я ли писал спутнику жизни:
«Не беспокойся,— писал, — жена.
Последняя капля крови капнет —
На клятве моей не будет пятна».

Не я ли стихом присягал и клялся,
Идя на кровавую войну:
«Смерть улыбку мою увидит,
Когда последним дыханьем вздохну».

О том, что твоя любовь, товарищ,
Смертный огонь гасила во мне,
Что родину и тебя любил я,
Кровью моей напишу на земле.

Еще о том, что буду спокоен,
Если за родину смерть приму.
Живой водой эта клятва будет
Сердцу смолкающему моему.

Судьба посмеялась надо мной:
Смерть обошла — прошла стороной.
Последний миг — и выстрела нет!
Мне изменил
мой пистолет...

Скорпион себя убивает жалом,
Орел разбивается о скалу.
Разве орлом я не был, чтобы
Умереть, как подобает орлу?

Поверь мне, родина, был таким я,—
Горела во мне орлиная страсть!
Уж я и крылья сложил, готовый
Камнем в бездну смерти упасть.

Что делать?
Отказался от слова,
От последнего слова друг-пистолет.
Враг мне сковал полумертвые руки,
Пыль занесла мой кровавый след...

...Вновь заря над колючим забором.
Я жив, и поэзия не умерла:
Пламенем ненависти исходит
Раненое сердце орла.

Вновь заря над колючим забором,
Будто подняли знамя друзья!

Кровавой ненавистью рдеет
Душа полоненная моя!

Только одна у меня надежда:
Будет август. Во мгле ночной
Гнев мой к врагу и любовь к отчизне
Выйдут из плена вместе со мной.

Есть на друзей у меня надежда —
Сердце стремится к одному:
В ваших рядах идти на битву
Дайте, товарищи, место ему!

1942, июль

В ДЕНЬ СУДА

В день суда нас вывели из камер,
Выстроили на пустом плацу.
Солнце затянулось облаками:
Солнцу этот суд не по нутру.

Видно, не росой трава умылась,
А слезами горькими земли.
Лес и взгорья, впавшие в немилость,
Спрятались, в густой туман ушли.

Холодно. Одни босые ноги
Чувствуют сырой земли тепло.
Мать-земля за сыновей в тревоге,
Греет нас и дышит тяжело.

Не горюй, земля, — не задрожим мы
До тех пор, пока ты носишь нас,
Именем страны, которой живы,
Поклянемся мы и в смертный час.

Вот и судьи, с красными глазами,
По-немецки что-то говорят.
Не они нас судят, — нет, мы сами
Громко обвиняем всех подряд.

Пусть палач топор свой точит медный,
Пусть в собачьей радости рычит.
Наше слово, наш ответ последний
Громогласно в зале прозвучит.

День придет, и всех народ осудит,
И в решенье грозного суда
Песня окровавленная будет
За меня возмездьем навсегда!

1943

ВОЛКИ

Люди кровь проливают в боях:
Сколько тысяч за сутки умрет!
Чуя запах добычи, вблизи
Рыщут волки всю ночь напролет.

Разгораются волчьи глаза:
Сколько мяса людей и коней!
Вот одной перестрелки цена!
Вот ночной урожай батарей!

Волчьей стаи вожак матерой,
Предвкушением пира хмелен,
Так и замер:
                    его пригвоздил
Чуть не рядом раздавшийся стон.

То, к березе припав головой,
Бредил раненый, болью томим,
И береза качалась над ним,
Словно мать убивалась над ним.

Все жалеючи, плачет вокруг,
И со всех стебельков и листков
Оседает в траве не роса,
А невинные слезы цветов.

Старый волк постоял над бойцом,
Осмотрел и обнюхал его,

Для чего-то в глаза заглянул,
Но не сделал ему ничего...

На рассвете и люди пришли;
Видят: раненый дышит чуть-чуть,
А надежда-то все-таки есть
Эту искорку жизни раздуть.

Люди в тело загнали сперва
Раскаленные шомпола,
А потом на березе, в петле,
Эта слабая жизнь умерла...

*

Люди кровь проливают в боях:
Сколько тысяч за сутки умрет!
Чуя запах добычи вблизи,
Рыщут волки всю ночь напролет.

Что там волки! Ужасней и злей —
Стаи хищных двуногих зверей.

1943, март

ВАРВАРСТВО

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными
глазами
Окинул обреченных... Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня...
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!

Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз...
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг,—
Прижались к матерям, цепляясь за
подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
— Спрячь, мамочка, меня! Не надо
умирать! —
Он плачет и, как лист, сдержать не может
дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо...
— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? —
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
— Не бойся, мальчик мой. Сейчас
вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет
больно.—

И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой.
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей...

1943, октябрь

МОИ ПЕСНИ

Песни, в душе я взрастил ваши всходы,
Ныне в отчизне цветите в тепле.
Сколько дано вам огня и свободы,
Столько дано вам прожить на земле!

Вам я поверил свое вдохновенье,
Жаркие чувства и слез чистоту.
Если умрете — умру я в забвенье,
Будете жить — с вами жизнь обрету.

В песне зажег я огонь, исполняя
Сердца приказ и народа приказ.
Друга лелеяла песня простая,
Песня врага побеждала не раз.

Низкие радости, мелкое счастье
Я отвергаю, над ними смеюсь.

Песня исполнена правды и страсти —
Тем, для чего я живу и борюсь.

Сердце с последним дыханием жизни
Выполнит твердую клятву свою:
Песни всегда посвящал я отчизне,
Ныне отчизне я жизнь отдаю.

Пел я, весеннюю свежесть почуя,
Пел я, вступая за родину в бой.
Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой.

Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

1943, 26 ноября

В СТРАНЕ АЛМАН[1]

И это страна великого Маркса?!
Это бурного Шиллера дом?!
Это сюда меня под конвоем
Пригнал фашист и назвал рабом?!
И стенам не вздрогнуть от «Рот фронта»?
И стягу спартаковцев не зардеть?
Ты ударил меня, германский парень,
Ты ударил меня... За что? Ответь!
Тому, кто любил вольнодумца Гейне
И смелой мысли его полет,
В последнем жилище Карла и Розы
Пытка зубы не разожмет.
Тому, кто был очарован Гете,
Ответь: таким ли тебя я знал?
Почему прибой симфоний Бетховена
Не сотрясает мрамора зал?
Здесь черная пыль заслоняет солнце,
И я узнал подземную дверь,
Замки подвала, шаги охраны...

---

[1] **Алман.**— Так автор для конспирации назвал в своих стихах фашистскую Германию.

Здесь Тельман томился. Здесь я теперь.
Неужто и мне, как Розе и Карлу,
Смерть суждена от своры борзых?
И меня поведут, и меня задавят,
И сбросят с моста, как сбросили их?!
Кто Цеткиной внук?!
Кто Тельмана друг?!
Есть среди вас такие, эй?!
Услышьте голос стальной воли —
Откройте наши тюрьмы скорей!
С песней придите.
                    Придите так же,
Как в девятнадцатом шли году:
С кличем «Рот фронт»,
                    колоннами,
                              маршем,
Вскинув правый кулак на ходу!
Солнцем Германию осветите!
Солнцу откройте в Германию путь!
Тельман пусть говорит с трибуны!
Маркса и Гейне отчизне вернуть!
Кто Цеткиной внук?
Кто Тельмана друг?
Есть среди вас такие, эй?
Услышьте голос великой правды!
Наши тюрьмы откройте скорей!

1943, 19 декабря

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

●

РОДИНА

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке,
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

1941

* * *

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали:— Господь вас спаси! —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала:— Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941

* * *

Над чёрным носом нашей субмарины
Взошла Венера — странная звезда,
От женских ласк отвыкшие мужчины,
Как женщину, мы ждем ее сюда.

Она, как ты, восходит все позднее,
И, нарушая бег небесных тел,
Другие звезды всходят рядом с нею,
Гораздо ближе, чем бы я хотел.

Они горят трусливо и бесстыже.
Я никогда не буду в их числе,
Пускай они к тебе на небе ближе,
Чем я, тобой забытый на земле.

Я не прощусь с опасностью земною,
Чтоб в мирном небе зябнуть, как они,
Стань лучше ты падучею звездою,
Ко мне на землю руки протяни.

На небе любят женщину от скуки
И отпускают с миром, не скорбя...
Ты упадешь ко мне в земные руки,
Я не звезда. Я удержу тебя.

1941

* * *

В. С.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.—
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня

Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

* * *

Мы не увидимся с тобой,
А женщина еще не знала;
Бродя по городу со мной,
Тебя живого вспоминала.

Но чем ей горе облегчить,
Когда солдатскою судьбою
Я сам назавтра, может быть,
Сравняюсь где-нибудь с тобою?

И будет женщине другой —
Все повторяется сначала —
Вернувшийся товарищ мой,
Как я, весь вечер лгать устало.

Печальна участь нас, друзей,
Мы все поймем и не осудим
И все-таки о мертвом ей
Напоминать некстати будем.

Ее спасем не мы, а тот,
Кто руки на плечи положит,
Не зная мертвого, придет
И позабыть его поможет.

1941

АТАКА

Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Готов был броситься в атаку,
Винтовку вскинув на бегу,

Какой уютной показалась
Тебе холодная земля,
Как все на ней запоминалось:
Примерзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла.
Казалось, если лечь, остаться —
Земля бы крепостью была.

Пусть снег метет, пусть ветер гонит,
Пускай лежать здесь много дней.
Земля. На ней никто не тронет.
Лишь крепче прижимайся к ней.

Ты этим мыслям жадно верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.

Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжелою походкой
Бежал по снегу напрямик.

Осталась только сила ветра,
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне!

1942

СМЕРТЬ ДРУГА

Памяти Евгения Петрова

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.

В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом, под одной шинелью,
Не спит у печки жестяной.

Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься вместе не смогло.

Упрямство, гнев его, терпенье —
Ты все себе в наследство взял,
Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем женам,
Воспоминанья — сыновьям,
Но по земле, войной сожженной,
Идти завещано друзьям.

Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства,
Все у́же круг твоих друзей.

Взвали тот груз себе на плечи,
Не оставляя ничего,
Огню, штыку, врагу навстречу,
Неси его, неси его!

Когда же ты нести не сможешь,
То знай, что, голову сложив,
Его всего лишь переложишь
На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,
Из третьих рук твой груз возьмет,
За мертвых мстя и ненавидя,
Его к победе донесет.

1942

ДОМ В ВЯЗЬМЕ

Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нем.

Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофер достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет.

Но знаю я, что в смертный час
За тем столом он вспомнил нас.

В ту ночь, готовясь умирать,
Навек забыли мы, как лгать,

Как изменять, как быть скупым,
Как над добром дрожать своим.

Хлеб пополам, кров пополам —
Так жизнь в ту ночь открылась нам.

Я помню в Вязьме старый дом.
В день мира прах его с трудом

Найдем средь выжженных печей
И обгорелых кирпичей,

Но мы складчину соберем
И вновь построим этот дом,

С такой же печкой и столом
И накрест клеенным стеклом.

Чтоб было в доме все точь-в-точь
Как в ту нам памятную ночь.

И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,
Солжет или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых,—

Мы суд солдатский соберем
И в этот дом его сошлем.

Пусть посидит один в дому,
Как будто утром в бой ему,

Как будто, если лжет сейчас,
Он, может, лжет в последний раз,

Как будто хлеба не дает
Тому, кто к вечеру умрет,

И палец подает тому,
Кто завтра жизнь спасет ему.

Пусть вместо нас лишь горький стыд
Ночь за столом с ним просидит.

Мы, встретясь, по его глазам
Прочтем: он был иль не был там.

Коль не был,— значит, неспроста,
Коль не был — совесть нечиста.

Но если был, мы ничего
Не спросим больше у него.

Он вновь по гроб нам будет мил,
Пусть честно скажет: — Я там был.

1943

ДАЛЕКОМУ ДРУГУ

И этот год ты встретишь без меня.
Когда б понять ты до конца сумела,
Когда бы знала ты, как я люблю тебя,
Ко мне бы ты на крыльях долетела.

Отныне были б мы вдвоем везде,
Метель твоим бы голосом мне пела,
И отраженьем в ледяной воде
Твое лицо бы на меня смотрело.

Когда бы знала ты, как я тебя люблю,
Ты б надо мной всю ночь, до пробужденья,
Стояла тут, в землянке, где я сплю,
Одну себя пуская в сновиденья.

Когда б одною силою любви
Мог наши души поселить я рядом,
Твоей душе сказать: приди, живи,
Бесплотна будь, будь недоступна взглядам,

Но ни на шаг не покидай меня,
Лишь мне понятным будь напоминаньем:
В костре — неясным трепетом огня,
В метели — снега голубым порханьем.

Незримая, смотри, как я пишу
Листки своих ночных нелепых писем,
Как я слова беспомощно ищу,
Как нестерпимо я от них зависим.

Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу,
Свое ты редко здесь услышишь имя.
Но если я молчу — я о тебе молчу,
И воздух населен весь лицами твоими.

Они кругом меня, куда ни кинусь я,
Все ты в мои глаза глядишь неутомимо.
Да, ты бы поняла, как я люблю тебя,
Когда б хоть день со мной тут прожила незримо.

. . . .

Но ты и этот год встречаешь без меня...

1943

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

●

ПРИСЯГАЕМ ПОБЕДОЙ

В нашу дверь постучался прикладом непрошеный гость.
Над Отчизной дыханье грозы пронеслось.
Слушай, Родина!
В грозное время войны
Присягают победой твои боевые сыны.
Каждым колосом наших колхозных полей,
Трубным гулом моторов и шелестом тополей,
Жизнью наших детей мы клянемся сегодня тебе —
Смять фашистскую гадину в грозной, суровой борьбе.
Наше сердце — каленая сталь клинка.
Наше сердце — стремительный взмах клинка.
Крепко держит винтовку рука.
Слышишь, Родина! Гулом наполнились степи и горы —
Это соколы наши для боя заводят моторы.
Слышишь, Родина! Гром загудел по оврагам —
Это танки выходят на бой сокрушительным шагом.
Слышишь, Родина! Залпы вскипают — грозны —
Это пушки запели победную песню войны.
Видишь, Родина! Пыль над полями легла —
Это наша пехота в штыки на фашистов пошла.
Видишь—пыль поднялась, на карьере звенят стремена—
Это конница наша несется, как шторм океанский грозна.
Слышишь голос сирен — это вышли в морские просторы
Крейсера и эсминцы, подводные лодки, линкоры.
Слышишь — сталь, созревая в мартенах, поет,
Слышишь — трактор по полю, на юге, комбайны ведет —
Это встал для победного боя советский народ.
Грозным взглядом окинул безмерную ширь
Закаленный в сраженьях советский народ-богатырь.
Мы проучим налетчиков наглых в жестоком бою.
Мы раздавим коричневую змею.
Бить фашистов, не зная пощады в борьбе,
В первый день испытанья
Клянемся, Отчизна, тебе!

Москва, 22 июня 1941 г.

ДВОЕ

Их было двое. Враг их окружал.
Один, крича и плача, побежал.
Четыре вспышки выстрелом блеснули,
И в спину беглеца впились четыре пули.
Другой боец не отступил ни шагу.
Он встретил в лоб орущую ватагу.
Поднялся в рост над рыжим бугорком,
Спружинил мышцы сильные упруго,
Разил гранатами, колол штыком
И вырвался из замкнутого круга,
Десятерых на месте уложив.
Он жизнь любил. И он остался жив.

Западный фронт. 1941

* * *

Войны имеют концы и начала...
Снова мы здесь, на великой реке.
Села в разоре. Земля одичала.
Серые мыши шуршат в сорняке.

Мертвый старик в лопухах под забором.
Трупик ребенка придавлен доской...
Всем нас пытали — и гладом и мором,
Жгучим стыдом и холодной тоской.

В битвах пропитаны наши шинели
Запахом крови и дымом костра.
В зной наши души не раз леденели,
В стужу сердца обжигала жара.

Шли мы в атаку по острым каменьям,
Зарева нас вырывали из тьмы.
Впору поднять десяти поколеньям
Тяжесть, которую подняли мы.

Ветер гуляет по киевским кручам,
И по дорогам, размытым дождем,
Наперекор нависающим тучам
Мы за весной и за солнцем идем.

Только бы буря возмездья крепчала,
Гневом сильней обжигала сердца...
В красном дыму затерялись начала.
Трубам победы греметь у конца.

Москва, 1943

РАССТРЕЛ ПАРТИЗАНА

На ветвях израненного тополя
Теплое дыханье ветерка.
Над пустынным рейдом Севастополя
Ни серпа луны, ни огонька.

Воет полночь псами одичалыми.
Шелестят над щебнем сорняки.
Патрули качают над причалами
Плоские немецкие штыки.

В эту ночь кварталами спаленными,
Рассекая грудью мрак ночной,
Шел моряк, прощаясь с бастионами,
С мертвой Корабельной стороной.

Шел моряк над бухтами унылыми,
Где душе все камушки милы...
На кладбище старом, над могилами,
Конвоиры вскинули стволы.

Он стоял. Тельняшка полосатая
Пятнами густыми запеклась.
Он сказал:— Повоевал богато я,
Вашей черной крови полил всласть.

Это мы с братвой ночами темными
Вас подстерегали пулей злой
В Инкермане, за каменоломнями,
На крутых утесах за Яйлой.

Если ветер разгулялся по полю,
Встань попробуй поперек пути.

Много вас тянулось к Севастополю,
Да немногим пофартит уйти.

Встали здесь на якорь вы не рано ли?
Шторм придет и вырвет якоря...—
Вперебой, не в лад, винтовки грянули,
Небо кровью залила заря.

1943

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ

●

ДО СВИДАНЬЯ, ГОРОДА И ХАТЫ...

(Походная)

До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовет.
Молодые смелые ребята,
На заре уходим мы в поход.

На заре, девчата, выходите
Комсомольский провожать отряд.
Вы без нас, девчата, не грустите,—
Мы придем с победою назад.

Мы развеем вражеские тучи,
Разметем преграды на пути,
И врагу от смерти неминучей,
От своей могилы не уйти.

Наступил великий час расплаты,
Нам вручил оружие народ.
До свиданья, города и хаты,—
На заре уходим мы в поход.

1941

В ПРИФРОНТОВОМ ЛЕСУ

Лиде

С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лест.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,

Сидят и слушают бойцы —
Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;

Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом;

И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал — дорога к ней
Ведет через войну...

Так что ж, друзья, коль наш черед,—
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука;

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.

Но пусть и смерть — в огне, в дыму —
Бойца не устрашит,
И что положено кому —
Пусть каждый совершит.

Настал черед, пришла пора,—
Идем, друзья, идем!
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем;

За тех, что вянут, словно лист,
За весь родимый край...
Сыграй другую, гармонист,
Походную сыграй!

1942

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН КРАСНОАРМЕЕЦ

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Кто б ни был ты — рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух,—
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.

И для тебя и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А родину сберег.

1942

СЛОВО О РОССИИ

Советская Россия,
Родная наша мать!
Каким высоким словом
Мне подвиг твой назвать?
Какой великой славой
Венчать твои дела?
Какой измерить мерой —
Что́ ты перенесла?

В годину испытаний,
В боях с ордой громил,
Спасла ты, заслонила
От гибели весь мир.

Ты шла в огонь и в воду,
В стальной кромешный ад,
Ложилася под танки
Со связками гранат;
В горящем самолете
Бросалась с облаков
На пыльные дороги,
На головы врагов;
Наваливалась грудью
На вражий пулемет,
Чтобы твои солдаты
Могли идти вперед...
Тебя морили мором
И жгли тебя огнем,
Землею засыпáли
На кладбище живьем;
Тебя травили газом,
Вздымали на ножах,
Гвоздями прибивали
В немецких блиндажах...

Скажи, а сколько ж, сколько
Ты не спала ночей
В полях, в цехах, в забоях,
У доменных печей?
По твоему призыву
Работал стар и мал:
Ты сеяла, и жала,
И плавила металл;
Леса валила наземь,
Сдвигала горы с мест,—
Сурово и достойно
Несла свой тяжкий крест...

Ты все перетерпела,
Познала все сполна.
Поднять такую тяжесть
Могла лишь ты одна!
И, в бой благословляя
Своих богатырей,
Ты знала — будет праздник
На улице твоей!..

И он пришел! Победа
Твоя недалека:
За Тисой, за Дунаем
Твои идут войска;
Твое пылает знамя
Над склонами Карпат,
На Висле под Варшавой
Твои костры горят;
Твои грохочут пушки
Над прусскою землей,
Огни твоих салютов
Всплывают над Москвой...

Скажи, какой же славой
Венчать твои дела?
Какой измерить мерой
Тот путь, что ты прошла?
Никто в таком величье
Вовеки не вставал.
Ты — выше всякой славы,
Достойней всех похвал!
И все народы мира,
Что с нами шли в борьбе,
Поклоном благодарным
Поклонятся тебе;
Поклонятся всем сердцем
За все твои дела,
За подвиг твой бессмертный,
За все, что ты снесла;
За то, что жизнь и правду
Сумела отстоять,
Советская Россия,
Родная наша мать!

1944

ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ...

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол,—
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел...»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний вечер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой:

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

1945

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

●

1919—1941

1

Я помню ту осень и стужу,
Во мраке бугры баррикад,
И отблеск пожарища в лужах,
И грозный, как ночь, Петроград!

И в ночь уходили мужчины
С коротким приказом: вперед!
Без песен, без слов, без кручины
Шел питерский славный народ.

И женщины рыли толпою
Окопы, о близких шепча,
Лопатой и ржавой киркою
В тяжелую землю стуча.

У них на ладонях темнели
Кровавых мозолей следы,
Но плакать они не умели —
Как были те люди горды!

И как говорили без дрожи:
«Умрем, не отступим назад.
Теперь он еще нам дороже,
Родной, боевой Петроград!

За каждый мы камень сразимся,
Свой город врагу не сдадим...»
И теми людьми мы гордимся
Как лучшим наследьем своим!

2

Враг снова у города кружит,
И выстрелы снова звучат,

И снова сверкает оружье
В твоих августовских ночах.

И снова идут ленинградцы,
Как двадцать два года назад,
В смертельном сраженье сражаться
За свой боевой Ленинград.

Их жены, подруги и сестры
В полдневный, в полуночный час
Киркой и лопатою острой
В окопную землю стучат.

Друзья, земляки дорогие!
Боев наших праведный труд
И рвы, для врага роковые,
В народную память войдут.

Так пусть от истока до устья
Невы пронесется, как гром:
«Умрем, но врага не пропустим
В наш город, в родимый наш дом!»

* * *

Растет, шумит тот вихрь народной славы,
Что славные подъемлет имена,
Таким он был в свинцовый час Полтавы
И в раскаленный день Бородина.

Все тот же он. Под Тулой и Москвою,
Под Ленинградом в сумрачных лесах
Бойцы идут. У них над головою
Родные звезды в снежных небесах.

Нет, рано враг торжествовал победу!
И сквозь пожаров дымные рога
Бойцы идут по вражескому следу,
Врезая шаг в скрипучие снега.

А враг бежит, смятенный и голодный,
Кляня судьбу проклятую свою.

Как завершенье веры всенародной,—
Слова вождя исполнились в бою.

Бойцы идут среди родимых пашен
Победным шагом, грозны и легки,
А их народ зовет: гвардейцы наши,
Любимые, желанные сынки.

Идут бойцы, их губы крепко сжаты,
Лежит на запад огненный поход,
Их движет месть, безжалостный вожатый,
И вражьих тел великий счет ведет.

Громя врага и мстя, мы твердо знаем,—
Она пройдет, смертельная пурга.
Последний залп над Рейном и Дунаем
Сразит насмерть последнего врага!

БАЛЛАДА О ТРЕХ КОММУНИСТАХ

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов —
Разведчики бывалые, поход для них не нов.

Стоят леса зеленые, лежат белы снега,—
В них гнезда потаенные проклятого врага.

Зарылись дзоты серые, перерадив пути,
Ни справа и ни слева их никак не обойти.

Зарылись норы вражьи в приволховском песке,
На них идут разведчики, гранату сжав в руке.

То дело им знакомое — и в сердце ровный стук,
Когда гуляют громы их гранатные вокруг.

Гуляют дымы длинные меж узких амбразур,
И трупы немцев синие валяются внизу.

И снег как будто глаже стал и небо голубей,—
Бери оружье вражье, повертывай — и бей.

И взвод вперед без выстрела,— но тотчас взвод залег,
Попав под град неистовый из новых трех берлог.

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов —
Все трое в то мгновение увидели одно:

Что пулеметы вражьи из амбразур не взять,
Что нет гранаты даже — и медлить им нельзя!

Что до сих пор разведчики, творя свои дела,
Не шли туда, где легче им,— куда война вела.

И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих
Три коммуниста гордых, три брата боевых.

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов
Глядят на дзоты серые, но видят лишь одно:

Идут полки родимые, ломая сталь преград,
Туда, где трубы дымные подъемлет Ленинград,

Где двести дней уж бьется он с фашистскою ордой
И над врагом смеется он смертельной красотой.

Спеши ему на выручку! Лети ему помочь
Сквозь стаи псов коричневых, сквозь выогу, битву, ночь!

И среди грома адского им слышен дальний зов:
То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов!

И оглянулись трое: и, как с горы видна,
Лежит страна героев, родная сторона.

И в сердце их не прежний, знакомый, ровный стук,—
Огнем оделось сердце, и звон его вокруг.

И ширится с разлету и блещет, как заря,—
Не три бойца у дзотов, а три богатыря.

Навстречу смерть им стелется, из амбразур горит,
Но прямо сквозь метелицу идут богатыри.

Вы, звери, псы залетные, смотрите до конца,
Как ярость пулеметную закрыли их сердца.

А струи пуль смертельные по их сердцам свистят,—
Стоят они отдельные, но как бы в ряд стоят.

Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих,
Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их,

И взвод рванул без выстрела — в штыки идет вперед,
И снег врагами выстелен, и видит дзоты взвод.

И называет доблестных страны родной сынов:
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов!

Темны их лица строгие, как древняя резьба,
Снежинки же немногие застыли на губах.

Простые люди русские стоят у стен седых,
И щели дзотов узкие закрыты грудью их!

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

●

ПАРТИЗАНКА

Убили партизанку на рассвете.
Две ночи длились пытки и допрос.
Прощаясь, трогал подмосковный ветер
На лбу девическую прядь волос.

Исколотую вражьими штыками,
В разрушенном селенье — на краю —
Мы подняли солдатскими руками,
Россия, дочь любимую твою.

В снежинках всю ее мы положили
В избе просторной русского села.
Еще о ней мы песен не сложили,
А жизнь ее — вся песнею была.

1942

ПОЕДИНОК

Из камня высекут — и на века
Останется с гранатою рука.

Танк все сминает на своем пути,
Но встал боец — и танку не пройти.

Рванулось пламя красное под ним,
Танк зарычал, оделся в черный дым.

А в серой каске русский паренек
Стер пот со лба. Горячий был денек!

1942

ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК

Как повяжешь галстук,
Береги его,
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного.

А под этим знаменем
В бой идут бойцы.
За отчизну бьются
Братья и отцы.

Как повяжешь галстук,
Ты —светлей лицом...
На скольких ребятах
Он пробит свинцом!..

Пионерский галстук...
Нет его родней!
Он от юной крови
Стал еще красней.

Как повяжешь галстук,
Береги его,
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного.

1942

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

●

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ

Вступление

Положи на сердце эту песню,
Эту строчку каждую возьми!..
Жизнь гвардейца! Повторись! Воскресни
Песнею о двадцати восьми!

Проходи, мой стих, путем победным,
Чтобы, изучая не спеша,
Не дымком воспоминаний бледным —
Дымом артиллерии дышать!

Проплывут гвардейские знамена,
И ракеты вспыхнут на пути,
Каждого гвардейца поименно
Пригласив в бессмертие войти.

Вытирая о ступеньки ноги,
Он взойдет тихонько по крыльцу,
Он войдет и встанет на пороге
Песни, посвященной храбрецу.

Бледный и усталый от сраженья,
Он войдет и скажет на ходу:
— Я в грязи, а здесь стихотворенье!
Лучше я, товарищи, уйду!

Оставайся! Мы тебя не пустим!
Здесь твой дом! И здесь твоя семья!
Лучшая учительница чувствам —
Русская застенчивость твоя!

Домовитый, мужественный, честный,
По-хозяйски посмотри вокруг.

Песня без хозяина — не песня!
Будь ее хозяином, мой друг!

Потому что каждая страница —
Мужества широкие поля,
Песнями, легендами, пшеницей
Русская богатая земля!

Заходи же! Ты имеешь право!
Оставайся! Ты — хозяин тут,
Потому что реки нашей славы
В океан бессмертия текут!

И опять идут за ротой рота
В смертный бой, и впереди, взгляни,—
Партии раскрытые высоты,
Комсомола яркие огни!

Комсомол

Комсомол! Это слово давно
Произносится мной нараспев,
Это — партии ранний посев,
ВКП золотое зерно.

Старость юность мою заметет,—
Я до старости чуть не дошел,
Слышу — мужество в марше идет,
Оборачиваюсь: Комсомол!

Ты меня через годы провел,
Терпеливо учил сочинять...
Мне б до старости славу догнать!
Задыхаясь, догнал — Комсомол!

Ты и слава, и мужество ты!
Ты — большое семейство одно,
Поднимаясь горам на хребты,
Опускаясь ущельям на дно,

Через снег, через топи болот
Миллион комсомольцев идет.
Это выдумать даже нельзя,
Чтобы были такие друзья.

Коммунист! Комсомолец! Боец!
Нам назад отступать не дано!
И тогда двадцать восемь сердец
Застучали как сердце одно.

И тогда молодой политрук
Посмотрел на себя, на ребят,—
Двадцать восемь протянутых рук,
Двадцать восемь взведенных гранат!

Когда умирают гвардейцы

Тебе не расстаться с шинелью,
Ни разу уже не раздеться...
Снега! Поднимитесь метелью,
Когда умирают гвардейцы!

Звезда боевого ночлега
Над нами мерцает, как раньше...
Трава! Поднимись из-под снега
Приветствовать наше бесстрашье!

С врагом до последнего биться
Вело нас гвардейское знамя...
Последних минут очевидцы,
Склонитесь, березы, над нами!

Идем, политруком ведомы,
К победе и к смерти готовы...
Эх, жаль, что далеко до дому,
А ворон — не голубь почтовый!

Подружка моя молодая,
Тебе ль оставаться вдовою?..
Огонь по переднему краю!
За мною, гвардейцы, за мною!

Сибирской ночной тишиною
Покрыта Иркутская область...
За мною, гвардейцы! За мною!
На подвиг, на славу, на доблесть!

Заснежена наша избушка,
Мальчонка играет с собакой...

Гвардейцы! Фашиста — на мушку!
За мною, гвардейцы, в атаку!

Мы вновь не увидимся будто...
Прощайте навеки, родные!
Предсмертной разлуке — минута,
А родине — все остальные!

Мы жили семьею счастливой,
Мы прожили век не скучая,
Гранат и снарядов разрывы
Гвардейскою шуткой встречая...

Все ближе стучат автоматы,
И танки надвинулись глухо...
Но сталь и железо, ребята,
Помягче гвардейского духа!

Лети же, последняя пуля,
И в горло тевтонское впейся...
Бессмертье встает в карауле,
Когда умирают гвардейцы!

Завещание

Ушла гвардейская семья,
И расспросить об этом некого...
Вставай, фантазия моя,
На пост разъезда Дубосеково.

По пядям землю осмотри
В снегах молчания угрюмого
И каждый подвиг повтори,
Бессильная сама выдумывать!

Ты собери по капле кровь,
Ползя полями невеселыми,
Чтоб стали двадцать восемь вновь
Земли советской новоселами.

Не устилай поля атак
Ни горестью и ни печалями...
Гвардеец скажет: «Нет! Не так,
Совсем иначе умирали мы!»

Достойно смерть свою встречал,
Как будто жизнь встречает заново,
Так — я свидетель — умирал
Мой друг Крючков Абрам Иванович.

Сознав, что сделал все, что мог,
Спокойно, как всегда, как давеча,
Недавно Добробабин лег,—
Так смерть нашла Иван Евстафьича.

Но пламеннее всех бойцов,
Как будто сто сердец в груди его,
Погиб наш политрук Клочков,
Которого я знал как Диева.

Пусть мне сто лет прожить сулят,
Пусть вечность поднесут на блюдечке,—
Я политрука и ребят
Покину, только мертвым будучи!

И Шепеткова — земляка,
И Сенгирбаева — татарина,
Но только жизнь одна пока
Бойцу с рождения подарена.

И мне, дружок, не по плечу
Наш общий подвиг обнародовать,
Я только жизнь свою хочу
В гвардейской схватке израсходовать.

Враги зарылись под огнем,
И некуда, проклятым, деться им:
Земля на тыщи верст кругом
Полна советскими гвардейцами!

Споют о нас в краю родном,
И, может, строчка в песне выльется
И обо мне — как об одном
Из двадцати восьми панфиловцев.

Поэт! Приветствуй мой народ,
Поздравь его с победой скорою...
Так гвардия идет вперед,
Так продолжается история!

Гвардейская песня

Гвардейцы! Мы прожили годы не зря,
Недаром в сражения шли!
Над нами не раз поднималась заря —
Гвардейское знамя земли.

В бою неустанно — опять и опять —
Гвардейское наше житье!
И смерть удивлялась не в силах понять,
Что так презирают ее!

Родная страна провожала бойца,
Прощались — и не было слез,
Когда уносили мы наши сердца
От русских, от белых берез.

Вот так мы сражаемся, дышим, живем
Великой гвардейской семьей.
Придем мы к победе и в песню войдем,
Как люди приходят домой!

Письмо

Мы с утра занимаем окоп,
Кочку каждую оберегая...
Я далеко, и ты далеко...
Что ты скажешь, моя дорогая?

Много смерти
И много огня
Посреди необъятного поля...
Ты навряд ли увидишь меня...
Как ты думаешь, милая Поля?

Ты уйми свое девичье горе,
Ты пойми, что, поднявшись в атаку,
Твой любимый Петренко Григорий
Не хотел, чтобы кто-нибудь плакал.

Пусть я буду убит наповал,
Вспоминай о гвардейце без плача.
Он любимою родину звал
И тебя называл не иначе.

Сколько в республике нашей
Раздолья!
И сколько похожей на нас
Молодежи!

На север до полюса
(«Похоже на „Поля"»),
На запад до Польши
(Тоже похоже!)

Протянулось пространство
Далеко на восток
(Каждой речки изгиб
Будто твой локоток).

Над Воронежем, думаю,
Падает снег
(Там, где девичий твой
Приготовлен ночлег).

А южнее небось
Очень много тепла
(Будто ты там жила
Или только была)...

Вот склонился к плечу моему
Сенгирбаев — сподвижник мой старый...
(Я никак не пойму, почему
Воевали с Россией татары!)

И вот мы лежим —
Все двадцать восемь,
Будто погибает
Одна семья...

Помни о нас —
Мы тебя очень просим,
Кровь моя!
Любовь моя!
Дорогая моя!

Гвардейцы, в атаку! Прощай... Некогда...
Запомни навек
Политрука слова:

— Велика Россия, а отступать некуда:
Позади — Москва!

Проходит ночь. Шум боя стих.
К утру бойцы оцепенели.
Заря окутывает их
Своей сияющей шинелью.

Салют

К утру огонь пулеметов ослаб
И гул минометов стих...
Горе мое проникает в штаб,
Минуя всех часовых.

Командный пункт. Пустой блиндаж.
Глухой коридор земли
Безмолвен... Скажи, часовой: куда ж,
Куда же они ушли?

Черной стеной стоят леса,
Снежный лежит простор...
Ушел батальон, ушел комиссар,
Ушел генерал-майор.

И это молчание, выйдя в бой,
Дивизии опередив,
Взорвется над вражеской головой,
Как ненависти разрыв.

Мы в этих складках сомкнутых губ
Такую месть храним,
Такую боль, что не хватит труб,
Когда мы заговорим!

И в залп троекратный бойцы сольют
Ненависть, месть и боль...
Товарищ начальник! В общий салют
И этим стихам позволь!

Чтобы песня вперед устремилась,
Лобовою атакой гремела,
Чтобы все, что на мне, — задымилось,
Чтобы все, что во мне, — закипело!

Заключение

Мир наступит, землю согревая,
Унося артиллерийский дым...
Все, что мы сейчас переживаем,
Мы воспоминаньям отдадим.

Мы пойдем путем подразделений
За воспоминаниями вслед,
Вспомним горечь первых отступлений,
Сладость завоеванных побед.

По минуте каждой повторится
Наш сегодняшний военный день,
И мгновенно память озарится
Пламенем горящих деревень.

И сквозь годы память, как начальник,
Снова поведет нас за собой,
Пробираясь темными ночами
Темной партизанскою тропой.

Вспомним, как мы время измеряли
По движенью пулеметных лент,
Как в бою друг друга не теряли
Комиссар, боец, корреспондент.

Как стихи писали, как на месте
Останавливалось перо
В ожиданье утренних известий
От Советского Информбюро.

Как в окопе боевые сутки
Проводили взводом сообща,
Как шипящий круглый репродуктор
Имена героев сообщал.

В этом гуле пушечных раскатов
Никогда не забывайте их,
Навсегда на сердце отпечатав
Имена погибших и живых.

И чтоб лучше видеть это время,
Все пространство пройденных путей,

Соберите молодое племя,
Поднимите на руки детей,

Чтоб они, войдя веселым строем
В нами завоеванные дни,
Научились подражать героям,
Поступали так же, как они!

1942

ИТАЛЬЯНЕЦ

Черный крест на груди итальянца,—
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?

Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!

Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!

Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.

Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?

Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...

Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!

Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...

1943

ВЕРА ИНБЕР

●

БЕЙ ВРАГА!

Сын, тебя я под сердцем носила,
Я тобою гордилась, любя,
И со всей материнскою силой
Я теперь заклинаю тебя:

Бей врага! Над твоей головою
Вьется русского знамени шелк.
Каждый недруг, убитый тобою,
Это родине отданный долг.

Бей врага раскаленным металлом,
Обращай его в пепел и дым,
Чтобы с гордостью я восклицала:
«Это сделано сыном моим!»

Бей врага, чтобы он обессилел,
Чтобы он захлебнулся в крови,
Чтоб удар твой был равен по силе
Всей моей материнской любви!

Ленинград
Август 1942 г.

ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН

Глава первая

Мы — гуманисты

1

В пролет меж двух больничных корпусов,
В листву, в деревья золотого тона,
В осенний лепет птичьих голосов
Упала утром бомба, весом в тонну.

Упала, не взорвавшись: был металл
Добрей того, кто смерть сюда метал.

2

Здесь госпиталь. Больница. Лазарет.
Здесь красный крест и белые халаты;
Здесь воздух состраданием согрет,
Здесь бранный меч на гипсовые латы,
Укрывшие простреленную грудь,
Не смеет, не дерзает посягнуть.

3

Но Гитлер выжег кровью и железом
Все эти нормы. Тишину палат
Он превращает в судорожный ад.
И выздоравливающий с протезом,
Храбрец, блестяще выигравший бой,
Бледнеет, видя смерть перед собой.

4

А вестибюль приемного покоя...
Там сколько жертв! Их привезли сейчас.
Все эти лица, голоса... какое
Перо опишет? Девушка без глаз
(Они полны осколками стекла)
Рыдает, что она не умерла.

5

Фашист! Что для него наш мирный кров,
Где жизнь текла, исполненная смысла,
Где столько пролетало вечеров
За письменным столом? Теперь повисла
Над пустотой развалина стены,
Где полки книг еще сохранены.

6

Что для фашиста мирный русский дол,
Голландский сад, норвежская деревня?
Что для него плодовые деревья,
Речная пристань, океанский мол?
Все это — только авиамишени,
Все это — лишь объекты разрушений.

7

Умение летать!.. Бесценный дар,
Взлелеянная гениальным мозгом
Мечта. Впервые на крылах из воска
Взлетает к солнцу юноша Икар
Затем ли, чтоб на крыльях
«мессершмиттов»
Витала смерть над современным Критом?

8

Затем ли итальянец Леонардо
Проникнуть тщился в механизм крыла,
Чтоб в наши дни, в Берлине, после старта
Фашистская машина курс взяла
На университетские аллеи
Времен еще Декарта и Линнея?

9

Как грозен неба вид! Как необычен!
Как глухо полыхают жерла туч
В часы ночных боев, когда зенитчик
Прожектористу говорит: «Дай луч!»
И бледный луч на поиски врага
Вздымается, как грозная рука.

10

Нашла его. Нашарила за тучей.
К земле его! Чтоб óземь головой,
Чтоб подняли его моторы вой,
Чтобы сгорел он в собственном горючем,
Чтобы зловещий этот нетопырь,
Ломая крылья, пал бы на пустырь.

11

Не вырвется из наших рук, шалишь!..
Он мечется. Движения все резче.
Он падает. И, видя это с крыш,
Пожарные дружины рукоплещут.
И, слыша это снизу, со двора,
Дежурные во тьме кричат «ура»...

12

Есть чувства в человеческой душе,
Которыми она гордиться вправе.
Но не теперь. Теперь они уже
Для нас как лишний груз при переправе:
Влюбленность. Нежность. Страстная
любовь...
Когда-нибудь мы к вам вернемся вновь.

13

У нас теперь одно лишь чувство — Месть.
Но мы иначе понимаем это;
Мы отошли от Ветхого завета,
Где смерть за смерть. Нам даже трудно
счесть...
С лица земли их будет сотни стертых
Врагов — за каждого из наших мертвых.

14

Мы отомстим за все: за город наш,
Великое творение Петрово,
За жителей, оставшихся без крова,
За мертвый, как гробница, Эрмитаж,
За виселицы в парке над водой,
Где стал поэтом Пушкин молодой,

15

За гибель петергофского «Самсона»,
За бомбы в Ботаническом саду,
Где тропики дышали полусонно
(Теперь они дрожат на холоду).
За все, что накопил разумный труд,
Что Гитлер превращает в груды груд.

16

Мы отомстим за юных и за старых:
За стариков, согнувшихся дугой,
За детский гробик, махонький такой,
Не более скрипичного футляра.
Под выстрелами, в снеговую муть,
На саночках он совершал свой путь.

17

Мы — гуманисты, да! Нам дорог свет
Высокой мысли (нами он воспет).
Для нас сиянье светлого поступка
Подобно блеску перстня или кубка,
Что переходит к сыну от отца
Из века в век, все дале, без конца.

18

Но гуманизм не в том, чтобы глядеть
С невыразимо скорбной укоризной,
Как враг глумится над твоей отчизной,
Как лапа мародера лезет в клеть
И с прибежавшего на крик домой
Срывает шапку вместе с головой.

19

Как женщину, чтоб ей уже не встать,
Фашист-ефрейтор сапогами топчет,
И как за окровавленную мать
Цепляется четырехлетний хлопчик,
И как, нарочно по нему пройдя,
Танк давит гусеницами дитя.

20

Сам Лев Толстой, когда бы смерть дала
Ему взглянуть на Ясную Поляну,
Своей рубахи, белой, как зима,
Чтоб не забрызгать кровью окаянной,
Фашиста, осквернителя могил,
Он старческой рукой бы задушил.

21

От русских сел до чешского вокзала,
От крымских гор до Ливии пустынь,
Чтобы паучья лапа не вползала
На мрамор человеческих святынь,
Избавить мир, планету от чумы —
Вот гуманизм! И гуманисты — мы.

22

А если ты, Германия, страна
Философов, обитель музыкантов,

Своих титанов, гениев, талантов
Предавши поруганью имена,
Продлишь кровавый гитлеровский бред,—
Тогда тебе уже прощенья нет.

23

Запомнится тебе ростовский лед.
Не позабудешь клинскую метель ты,
И синие морозы Невской дельты,
И в грозном небе Пулковских высот,
Как ветром раздуваемое пламя,
Победоносно реющее знамя.

Глава вторая

Свет и тепло

1

В ушах все время словно щебет птичий,
Как будто ропот льющейся воды:
От слабости. Ведь голод. Нет еды.
Который час? Не знаю. Жалко спички,
Чтобы взглянуть. Я с вечера легла,
И длится ночь без света и тепла.

2

На мне перчатки, валенки, две шубы
(Одна в ногах). На голове платок;
Я из него устроила щиток,
Укрыла подбородок, нос и губы.
Зарылась в одеяло, как в сугроб.
Тепло, отлично. Только стынет лоб.

3

Лежу и думаю. О чем? О хлебе.
О корочке, обсыпанной мукой.
Вся комната полна им. Даже мебель
Он вытеснил. Он близкий и такой
Далекий, точно край обетованный.
И самый лучший — это пеклеванный.

4

Он с детством сопрягается моим.
Он круглый, как земное полушарье.
Он теплый. В нем благоухает тмин.
Он рядом. Здесь. И, кажется, пошарь я
Рукой, перчатку лишь сними,—
И ешь сама. И мужа накорми.

5

А там, по Северной, сюда идут,
Идут составы — каждый бесконечен.
Не счесть вагонов. Ни один диспетчер
Не посягает на его маршрут.
Он знает: это посланный страной,
Особо важный. Внеочередной.

6

Там тонны мяса, центнеры муки,
И все это в три яруса грядою
Лежит в полкилометра высотою.
Но все это не доезжая Мги.
Там овощи. Там витамины «Це»...
Но к нам им не добраться. Мы в кольце.

7

Да, мы — в кольце. А тут еще мороз
Свирепствует, невиданный дотоле.
Торпедный катер стынет на приколе,
Автобус в ледяную корку врос;
За неименьем тока нет трамваев.
Все тихо. Город стал неузнаваем.

8

И пешеход, идя по мостовой
От Карповки до улицы Марата,
В молчанье тяжкий путь свершает свой.
И только редкий газогенератор,
На краткую минуту лишь одну
Дохнув теплом, нарушит тишину.

9

Как бы сквозь сон, как в деревянном веке,
Невнятно где-то тюкает топор.

Фанерные щиты, сарай, забор,
Полусгоревшие дома-калеки,
Остатки перекрытий и столбов —
Всё рубят для печурок и гробов.

10

Две женщины (недоля их свела)
В платках до глаз, соприкасаясь лбами,
Пенек какой-то пилят. Но пила
С искривленными, слабыми зубами,
Как будто бы и у нее цинга,
Не в состоянье одолеть пенька.

11

Ни лая, ни мяуканья, ни писка
Пичужьего. Небось пичуги там,
Где, весело летая по пятам
За лошадью, как из горячей миски,
Они хватают зернышки овса...
Там раздаются птичьи голоса.

12

Нет радио. И в шесть часов утра
Мы с жадностью «Последние известья»
Уже не ловим. Наши рупора —
Они еще стоят на прежнем месте,—
Но голос... голос им уже не дан:
От раковин отхлынул океан.

13

Вода!.. Бывало, встанешь утром рано,
И кран, с его металла белизной,
Забулькает, как соловей весной,
И долго будет течь вода из крана.
А нынче, ледяным перстом заткнув,
Мороз оледенил блестящий клюв.

14

А нынче пьют из Невки, из Невы
(Метровый лед коли хоть ледоколом).
Стоят, обмерзшие до синевы,
Обмениваясь шуткой невеселой,
Что уж на что, мол, невская вода,
А и за нею очередь. Беда!..

15

А тут еще какой-то испоганил
Всю прорубь керосиновым ведром.
И все, стуча от холода зубами,
Владельца поминают недобром:
Чтоб дом его сгорел, чтоб он ослеп,
Чтоб потерял он карточки на хлеб.

16

Лишилась тока сеть водоснабженья,
Ее подземное хозяйство труб.
Без тока, без энергии движенья
Вода замерзла, превратилась в труп.
Насосы, фильтры — их живая связь
Нарушилась И вот — оборвалась.

17

(В системе фильтров есть такое сито —
Прозрачная стальная кисея,
Мельчайшее из всех. Вот так и я
Стараюсь удержать песчинки быта,
Чтобы в текучей памяти людской
Они осели, как песок морской.)

18

Зима роскошествует. Нет конца
Ее великолепьям и щедротам.
Паркетами зеркального торца
Сковала землю. В голубые гроты
Преобразила черные дворы.
Алмазы. Блеск... Недобрые дары!

19

И правда, в этом городе, в котором
Больных и мертвых множатся ряды,
К чему эти кристальные просторы,
Хрусталь садов и серебро воды?
Закрыть бы их!.. Закрыть, как зеркала
В дому, куда недавно смерть вошла.

20

Но чем закрыть? Без теплых испарений
Воздушный свод неизъяснимо чист.

Не тающий на ветках снег — сиренев,
Как дымчатый уральский аметист.
Закат сухумской розой розовеет...
Но лютой нежностью все это веет.

21

А в час, когда рассветная звезда
Над улиц перспективой несравненной
Сияет в бездне утренней,— тогда
Такою стужей тянет из вселенной,
Как будто бы сам космос, не дыша,
Глядит, как холодеет в нас душа.

22

Недаром же на днях, заняв черед
С рассвета, чтоб крупы достать к обеду,
Один парнишка брякнул вдруг соседу:
— Ну, дед, кто эту ночь переживет,
Тот будет жить.— И старый дед ему:
— А я ее, сынок, переживу.

23

Переживет ли? Ох! День ото дня
Из наших клеток исчезает кальций.
Слабеем. (Взять хотя бы и меня:
Ничтожная царапина на пальце,
И месяца уже, пожалуй, три
Не заживает, прах ее бери!)

24

Как тягостно и, главное, как скоро
Теперь стареют лица! Их черты
Доведены до птичьей остроты
Как бы рукой зловещего гримера:
Подбавил пепла, подмешал свинца —
И человек похож на мертвеца.

25

Открылись зубы, обтянулся рот,
Лицо из воска. Трупная бородка
(Такую даже бритва не берет).
Почти без центра тяжести походка,

Почти без пульса серая рука.
Начало гибели. Распад белка.

26

У женщин начинается отек,
Они всё зябнут (это не от стужи).
Крест-накрест на груди у них все туже,
Когда-то белый, вязаный платок.
Не веришь: неужели эта грудь
Могла дитя вскормить когда-нибудь?

27

Апатия истаявшей свечи...
Все перечни и признаки сухие
Того, что по-ученому врачи
Зовут «алиментарной дистрофией»
И что не латинист и не филолог
Определяет русским словом «голод».

28

А там, за этим, следует конец.
И в старом одеяле цвета пыли,
Английскими булавками зашпилен,
Бечевкой перевязанный мертвец
Так на салазках ладно снаряжен,
Что, видимо, в семье не первый он.

29

Но встречный — в одеяльце голубом,
Мальчишечка грудной, само здоровье,
Хотя не женским, даже не коровьим,
А соевым он вскормлен молоком.
В движении не просто встреча это:
Здесь жизни передана эстафета.

30

И тут в мое ночное бытие
Вплетается со мною разлученный
Иной ребячий облик — мой внучонок.
Он в валеночках, золотце мое.
Он тепел. Осязаем. Он весóм...
Увы! Я сплю. И это только сон.

Глава третья

Огонь

1

Мороз, мороз!.. Великий русский холод,
Испытанный уже союзник наш.
Врагов он жалит, как железный овод.
Он косит их, прессует, как фураж,
И по телам заснувших мертвым сном
Он катит дальше в танке ледяно́м.

2

Как из былины, в кожаном шеломе
Глядит из башни (ну и здорова́!)
Румяная седая голова.
А дальше в этой танковой колонне
Идут бураны, снежные вьюны,
Заносы... Не видать еще весны.

3

Треск по́ лесу! Алмазная броня
То изумрудом вспыхнет, то рубином.
А чуть стемнеет, на излете дня,
Вооружась серебряной дубиной,
Уходит партизанить наш старик,
Как в дни Наполеона он привык.

4

И тут уж враг без памяти бежит,
Чтоб от него укрыться как-то, где-то.
И бледная немецкая ракета
Беззвучно заикается, дрожит.
Все снег да снег, без края и конца
Вокруг Оломны и Гороховца.

5

Ни шороха, ни звука, ни движенья,
Не покидает свой высокий пост
Луна, чье кольцевое окруженье
Истаивает под напором звезд.
И вдруг раскат. И ожил горизонт...
Товарищи, здесь Ленинградский фронт!

6

Вчерашний день мы провели в лесу,
На наших дальнобойных батареях.
И я его забуду не скорее,
Чем собственное имя. Пронесу
Его в глубинах сердца. Никогда
Туда не проникают холода.

7

С первоначальной силой излученья
Там в вечном сохраняются тепле
Сокровища: луч солнечный в Кремле
На ордене в минуту полученья,
Звук голоса, который из Москвы
Мы слушали на берегах Невы.

8

В безмолвии мы слушали его.
Сигнал тревоги в середине фразы
Из тишины не вывел никого.
Над городом шел бой. Потом на базы
(Мы поняли) вернулись «ястребки»,
Но наши мысли были далеки.

9

Речь продолжалась. И такая в ней
Уверенность была, такая сила,
Что эта ночь, которая гасила
Тревогами созвездия огней,
От сталинского голоса редела.
— Мы победим,— сказал он,— наше дело

10

Есть дело правое.— Был напоен
Овациями воздух. Будто стая
Крылатых, красных с золотом знамен
Над нами бушевала, пролетая.
Казалось нам, что где-то высоко
Победный пурпур плещет о древко.

11

И мы, десятки, тысячи людей,
В настороженном мраке Ленинграда,

Мы ощутили вдруг, что мы — громада,
Мы — сила. Что сияние идей,
К которым мы приобщены, бессмертно.
Пусть ночь. Пускай еще не видим черт мы

12

Лица Победы. Но ее венка
Лучи уже восходят перед нами.
Нас осеняет ленинское знамя,
Нас направляет Сталина рука.
Мы — будущего светлая стезя,
Мы — свет. И угасить его нельзя.

13

Прошло четыре месяца. И вот
В День Красной Армии, на фронте, снова
(Февраль — суровый месяц: снег и лед)
Мы услыхали сталинское слово,
Мы наблюдали выраженье глаз
Людей, его читающих при нас.

14

Они приказ Наркома обороны
Читали в полдень и когда закат
Был золотого цвета, как патроны,
В землянке, где над головой накат,
И у костра под елью вековой,
Когда был Млечный Путь над головой.

15

Оружием всех видов и родов
Приказ был соответственно отмечен.
Связист его читал у проводов,
У карты — генштабист. И лишь разведчик,
Кому и лишний вздох не разрешен,
В тылу врага был этого лишен.

16

Один из них рассказывал: — В снегу
И сам иной раз станешь как ледяшка,
Но согревает ненависть к врагу.
Сидишь часами — и оно не тяжко.

Мороз! А в голове горит одно —
Задание, которое дано.

17

Он прав, разведчик. От глухой тропы,
От точки огневой до бури шквальной,
Когда столбы земли, подобно пальмам,
Перерастают сосны и дубы,—
Везде и всюду, явен или скрыт,
Но этот наш огонь всегда горит.

18

Он партизанским полымем-пожаром
Захватчиков сжигает на корню,
Закован в современную броню,
Старинным русским полыхает жаром.
Он страшен недругам, он — бич врагов,
Ему дивятся пять материков.

19

Навек смертельно им потрясены
Те, кто его удары испытали.
Недаром же сказал товарищ Сталин,
Что артиллерия есть бог войны.
Всесокрушающее божество!..
Мы наблюдали в действии его.

20

Огонь! В честь нас, людей из Ленинграда,
В честь пятерых,— пять молний, пять громов
Рванули воздух (мы стояли рядом).
По вражьим блиндажам пять катастроф
И в интервалах первым начал счет
Один из нас, сказав:— За наш завод!

21

Второй проговорил:— За наш совхоз,
Во всем районе не было такого!
— За сына,— тихо третий произнес.
Четвертая, инструкторша горкома:
— За дочку! Где ты, доченька моя?
— За внука моего!— сказала я.

22

Я внука потеряла на войне...
О нет! Он не был ни боец, ни воин.
Он был так мал, так в жизни не устроен,
Он должен был начать ходить к весне.
Его зимою, от меня вдали,
На кладбище под мышкой понесли.

23

Его эвакуацией за Волгу
Метнуло. Весь вагон, куда ни глянь,
Всё дети. Ехать предстояло долго...
Так в лес детеныша уводит лань,
Все думает спасти его, пока
В ее сосцах хоть капля молока.

24

Он был, как тот березовый росток,
Который ожил в теплоте землянки
И вырос на стене, как на полянке,
Но долго просуществовать не мог.
Хирел, мечтал о солнце, как о чуде,
И вздрагивал от грохота орудий...

25

Смертельно ранящая, только тронь,
Воспоминаний взрывчатая зона...
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной.
И все же, невзирая на огонь,
Без жалости к себе, без снисхожденья
Иду по этим минным загражденьям

26

Затем, чтобы перо свое питала
Я кровью сердца. Этот сорт чернил...
Проходит год — они все так же алы,
Проходит жизнь — им цвет не изменил.
Чтобы писать как можно ярче ими,
Воспользуемся ранами своими.

27

Используем все огневые средства
Для ненависти огненной к врагу.

Боль старости, загубленное детство,
Могилка на далеком берегу...
Пусть даже наши горести и беды
Являются источником победы.

28

Преследуем единственную цель мы,
Все помыслы и чувства об одном:
Разить врага прямым, косоприцельным,
И лобовым, и фланговым огнем,
Чтобы очаг отчаянья и зла —
Проклятье гитлеризма — сжечь дотла.

Глава четвертая

Год

1

Зеленым листьям наступил конец.
В предчувствии грядущего мороза
Уже поникла юная береза,
Бледна, как необстрелянный боец.
Зато рябина, с пурпуром в петлицах,
Не в первый раз мороза не боится.

2

А на Неве ни шороха, ни плеска,
И город ало-черно-золотой
В ней отражен с венецианским блеском,
С поистине голландской чистотой.
Но наяву насколько он живей
В исконной русской прелести своей!

3

Он все такой же, как и до войны,
Он очень мало изменился внешне.
Но, вглядываясь, видишь: он не прежний,
Не все дома по-прежнему стройны.
Они в закатный этот час осенний
Стоят, как люди после потрясений.

4

Один кровоточит кирпичной раной,
Тот известковой бледностью покрыт,
Там вылетели окна из орбит
(Одно из них трепещет, как мембрана).
А там неузнаваема, как маска,
Окисленная порохом окраска.

5

Осколок у подъезда изувечил
Кариатиды мраморную грудь.
Страдания легли на эти плечи
Тяжелым грузом — их не разогнуть.
Но все же, как поддержка и защита,
По-прежнему стоит кариатида...

6

На Ленинград, обхватом с трех сторон,
Шел Гитлер силой сорока дивизий.
Бомбил. Он артиллерию приблизил,
Но не поколебал ни на микрон,
Не приостановил ни на мгновенье
Он сердца ленинградского биенье.

7

И, видя это, разъяренный враг,
Предполагавший город взять с разбега,
Казалось бы, испытанных стратегов
Призвал на помощь он: Мороз и Мрак.
И те пришли, готовые к победам,
А третий, Голод, шел за ними следом.

8

Он шептуном шнырял из дома в дом,
Ныл нытиком у продуктовой кассы.
А в это время рос ледовой трассы
За метром метр. Велась борьба со льдом.
С опасностью, со смертью пополам
Был доставляем хлеба каждый грамм.

9

И Ладога, как птица-пеликан,
Самопожертвования эмблема,

Кормящая птенцов самозабвенно,
Великий город, город-великан,
Питала с материнскою любовью
И перья снега смешивала с кровью.

10

Не зря старушка в булочной одной
Поправила беседовавших с нею:
— Хлеб, милые, не черный. Он ржаной,
Он ладожский, он белого белее.
Святой он.— И молитвенно старушка
Поцеловала черную горбушку.

11

Да, хлеб... Бывало, хоть не подходи,
Дотронуться — и то бывало жутко.
Начнешь его — и съешь без промежутка
Весь целиком. А день-то впереди!..
И все же днем ли, вечером, в ночи ли,
Работали, учились и учили.

12

Студент... Огонь он только что раздул.
Старательно распиленный на чурки,
Бросает он в него последний стул.
А сам перед игрушечной печуркой,
На корточках (пусть пламя припечет)
Готовит он очередной зачет.

13

Старик профессор... В клетчатом платке
Поверх академической ермолки,
Насквозь промерзший, с муфтой на шнурке,
С кастрюльками в клеенчатой кошелке.
Ему бомбежка путь пересечет,
Но примет у студента он зачет...

14

Тяжелый пласт осенней темноты
Так угнетал порой невыносимо,
Что были двадцать граммов керосина
Желанней, чем в степи глоток воды.

О, только бы коптилка не погасла!..
Едва горит соляровое масло.

15

И все же не погас он у меня,
Сосущий масло марлевый канатик,
Мерцающее семечко огня.
Так светит иногда светляк-фанатик
И чувствует, что он по мере сил
Листок событий все же озарил.

16

Я знаю, что в грозовой этой чаще
Другим удастся осветить крупней
Весь этот год, вплоть до его корней.
Но и светляк был точкою светящей,
И он в бореньях тьмы не изнемог.
Он бодрствовал. Он сделал все, что мог.

17

И Муза, на сияние лампадки
Притянутая нитью лучевой,
Являлась ночью, под сирены вой,
В исхлестанной ветрами плащ-палатке,
С блистанием волос под капюшоном,
С рукой, карандашом вооруженной.

18

Она шептала пишущим: «Дружок,
Не бойся, я с тобой перезимую».
Чтобы согреть симфонию Седьмую
Дыханьем раздувала очажок.
И головешка с нежностью веселой,
Как флейточка, высвистывала соло.

19

Любитель музыки! Пожалуй, в ней ты
Увидел бы, в игре ее тонов,
И впрямь порханье светлых клапанов
По угольному туловищу флейты,
И то, как, вмиг ее воспламеня,
По ней перебегает трель огня.

20

С электролампой, в световом овале,
Входила Муза в номерной завод
Под сумрачный, оледенелый свод,—
Там Стойкостью ее именовали...
И цех, где было пусто, как в соборе,
Вновь оживал. Все снова были в сборе.

21

Все нити и лучи сходились к ней,
От одиночных маленьких сияньиц
До величавых заводских огней,
Бросавших блики на снарядов глянец.
И каждый отблеск радовал сердца
И производственника и бойца.

22

Бывало, Муза днем, в мороз седой,
Противовесом черной силе вражьей,
Орудовкой, в берете со звездой,
Стояла у Канавки у Лебяжьей
И мановеньем варежки пунцовой
Порядок утверждала образцовый.

23

В апреле Муза скалывала лед.
Ей было трудно. Из-под зимней шапки
Росинками блестит, бывало, пот.
Ей в руки бы подснежников охапки...
Но даже в старом ватнике — она
Была все та же юная Весна,

24

Стремительна, прекрасна и строга.
Крылатая!.. И рядом с Музой каждый
И чувствовал и думал не однажды:
«Чтобы вернее сокрушить врага,
Я все отдам и даже бытие,
О Ленинград, сокровище мое!»

25

Всегда, везде, в обличии любом,
К любому причисляема отряду,

Она была любовью к Ленинграду,
И верою в победу над врагом,
Надеждою... Всего не перечесть:
Такой она была. Была и есть!

Глава пятая

Снова лето

1

В одиннадцать часов еще светло.
Еще на западе, не улетая,
Лежит заката алое крыло,
И даже полночь будет золотая.
Она уже в движенье привела
Аэростатов легкие тела.

2

Луну, с ее лебяжьим опереньем,
Зеркально опрокинула в Неву.
И соловей поет в кистях сирени:
«Я счастлив, счастлив, я жив-жив, живу!»
В самозабвении, без тени страха,
Выводит трели маленькая птаха.

3

Вверху рычат германские моторы:
«Мы фюр-рера покор-рные р-рабы,
Мы превращаем гор-рода в гр-робы.
Мы — смерть. Тебя уже не будет скор-ро».
А соловей свое: «Я тут, я тут,
Я жив, меня отсюда не сметут...»

4

Какой сегодня жаркий, жаркий день!
С какою быстротой созрело лето!
Еще немного — и ночная темь
Начнет от круглосуточного света
Неумолимо отрезать в пути
Сначала ломтики, потом ломти.

5

С восьми утра до часу или двух
Под деревом работаю, пишу там.
Подобием мельчайших парашютов
В саду летает тополиный пух.
Мгновение — и воздух рассекло
Пикирующей ласточки крыло.

6

Ее сынок, а может быть, и дочка,
Топорща крылышки, глядит на мать.
Птенцу и страх как хочется летать —
И страшно оторваться от кусточка.
Он смотрит на верхушки тополей,
А мать ему: «Смелей, дитя, смелей!»

7

Под деревом еще один птенец,
Ручонкою держась за край коляски,
Колеблется... Решился наконец.
Он делает шажок, не без опаски,
От мамы ни на шаг не отходя,
А та ему: «Смелей, смелей, дитя!»

8

Как много птиц и маленьких детей
Опять щебечет в гнездах Ленинграда!
О детский мир, цвети и не скудей
В пределах комнат и в аллеях сада,
И после двух блокадных наших зим
Чаруй нас возрождением своим!..

Глава шестая

Восстановление

Посвящается И. Д. С.

1

На стенах надпись: «Эта сторона
Опаснее, чем та, в часы обстрела».
Хотя и там вот только что гремело,
И там опасность не устранена.

И едкая пороховая мгла
Всю улицу на миг заволокла.

2

Но тут же, по опасной стороне,
Уже снуют строители, прорабы,
Торопят архите́ктора:— Пора бы
Начать ремонт хотя бы и вчерне.—
Чертят квадраты, конусы и кубы,
Раздобывают доски, гвозди, трубы.

3

Все здание в изъянах и порезах,
Во вмятинах и выбоинах. Но
Ему подбавить извести, железа,—
И снова станет на ноги оно.
И обновленно, молодо и крепко
Опять задышит лестничная клетка.

4

За штукатурами придет печник;
А там стекольщик со своим алмазом,
Окошко сантиметром уточнит,
Еще разок проверит просто глазом,—
И вспыхнет ослепительный по силе
Кусок небес взамен фанеры синей.

5

Лежат повсюду бревен штабеля
И ждут, чтоб превратили их в поленья.
И в наших Цельсиях, по их деленьям,
Стремясь уйти все дальше от нуля,
Карабкается ртутный стебелек
По градусам — он раньше так не мог.

6

И вот уж перед всем честным народом
На бревнах — голосистая пила
Опять свои частушки завела.
А дедушка-топор, седобородый,
Степенно, положительно и мерно
Поддакивает: «Верно. Верно. Верно».

7

Как песня, все привольней и плавней
Тепло распространяется по трубам.
Горит береза... Столько жара в ней,
Как будто комсомольцы-лесорубы,
Своей энергией ее согрев,
Повысили в сто раз ее нагрев.

8

И кран, где все, казалось, испито́,
Где не было уже ни капли жизни,—
Оттуда вдруг мелодия как брызнет,
Все выше, выше. И на верхнем «до»
(Как эта нота радостно-свежа!)
До... пятого доходит этажа.

9

Взамен коптилок, плошек и лучинок
Над письменным столом и над плитой
Опять цветет огнем своих тычинок
Электролампы венчик золотой.
Да здравствует дающая нам ток
Энергия, взрастившая цветок,

10

Бегущая по проводу, по стеблю!..
Растенья в Ботаническом саду
Чернели, точно в Дантовом аду.
Теперь опять, дыханием колеблем,
Уже растет, себя теплу вверяя,
Лист будущего пальмового рая.

11

В бассейне, где иссяк водопровод,
Куда носили воду литр за литром,
Меж розовых кувшинок вновь плывет
Громадный лист, похожий на палитру.
Пиши, художник, кистью вдохновенной
Развертыванье жизни сокровенной.

12

Уже монтажник занят важным делом —
Восстановленьем заводских турбин.

Уже на мраморном щите, на белом,
Горит контрольной лампочки рубин.
Вновь завоюет Ленинград по праву
Свою энергетическую славу.

13

Его великолепные моторы,
Турбины, двигатели, дизеля́
Опять начнут, о русская земля,
Питать энергией твои просторы.
И каждая машина, агрегат
Гордиться будут маркой «Ленинград».

14

Войдемте в Летний сад. Он тих и пуст.
Где статуи? Их тоже нет на месте.
Осанка, мрамор плеч, улыбка уст —
Все это скрыто — адрес неизвестен.
Все это в подземелии, где мрак,
Но где зато не угрожает враг.

15

Подобно хору греческих трагедий,
Не умолкают пушек голоса.
Но статуи... при мысли о победе
У них, как у людей, блестят глаза.
Поистине эпоху Возрожденья
Напоминает это пробужденье.

16

И шепчет мраморная Терпсихора,
Склонив над лютней юную главу:
«Я знаю, я предчувствую, что скоро
На сцене вновь волшебно оживу,
Соединяя в образе едином
Огонь страстей с прохладой лебединой».

17

И с чертежом и циркулем в руках
Архитектура говорит: «Я жажду
Опять трудиться для своих сограждан.
Хочу для них воссоздавать в веках
Не только крепости и бастионы,
А здравницы, дворцы и стадионы».

18

«Я корабли по ко́мпасу веду,
Я — Навигация,— раздался голос.—
Я с бурями, туманами боролась.
Мне в якорных цепях невмоготу.
Но скоро я, поднявши якоря,
Пойду в послевоенные моря».

19

Уже опять, с Искусством заодно,
Науки начинают вторить музам.
Уже открылось новых десять вузов,
Уже в аудиториях полно,
И видит с удовольствием декан,
Что надо ставить стулья по бокам.

20

Уже ребята по дороге в школу
На Невке видят молодой ледок.
Уже готов уйти плавучий док,
Чтоб уступить дорогу ледоколу.
Картина поздней осени ясна,
А нам все кажется, что нет — весна.

21

Все признаки. Всё на весну похоже.
И шорох льда, и аромат реки,
И маленькие эти огоньки
По темным улицам в руках прохожих,—
Весь город ими трепетно унизан:
Канун Победы. Светлый праздник близок.

22

Любой район, часть города любая,
Мосты, проспекты, парки, острова,—
Везде звучат желанные слова
По радио: «Противник отступает!»
И мы приказы слушаем вождя,
От гордости и счастья трепеща...

23

Еще артиллерийскими громами
Чревато небо Пулковских высот.

Еще в зловещей этой панораме
Нет места для космических красот.
Еще воронками глубоких ран
Дымится Пулковский меридиан.

24

Но час придет. Не будет ни окопов,
Ни пушечных, ни пулеметных гнезд.
Мы вновь нацелим жерла телескопов
По золотым ориентирам звезд.
Опять прославим солнца торжество,
Лучистую энергию его.

25

Да здравствует великий русский город
С энергией, невиданной дотоль!
Да здравствует энергия, в которой
Спрессованы десятки тысяч воль!
И навсегда, отныне и вовек,
Да здравствует советский человек!

Ленинград
Октябрь 1941 — ноябрь 1943 года

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

●

БАЛЛАДА О ЛЕНИНИЗМЕ

В скверике, на море,
Там, где вокзал,
Бронзой на мраморе
Ленин стоял.
Вытянув правую
Руку вперед,
В даль величавую
Звал он народ.
Массы, идущие
К свету из тьмы,
Знали: «Грядущее —
Это мы!»

Помнится сизое
Утро в пыли.
Вражьи дивизии
С моря пришли.
Чистеньких, грамотных
Дикарей
Встретил памятник
Грудью своей!
Странная статуя...
Жест — как сверло,
Брови крылатые
Гневом свело.

— Тонко сработано!
Кто ж это тут?
«ЛЕНИН».
Ах, вот оно?
Аб!
— Гут!

Дико из цоколя
Высится шест.
Грохнулся около
Бронзовый жест.
Кони хвостатые
Взяли в карьер.
Нет
   статуи,
Гол
   сквер.

Кончено! Свержено!
Далее — в круг
Введен задержанный
         Политрук.
Был он молоденький,
Двадцать всего,
Штатский в котике
Выдал его.

Люди заохали...
(«Эх, маета!»)
Вот он на цоколе,
Подле шеста;
Вот ему на плечи
Брошен канат.
Мыльные каплищи
Землю кропят...

— Пусть покачается
На шесте.
Пусть он отчается
В красной звезде!
Всплачется, взмолится
Хоть на момент,
Здесь, у околицы,
Где монумент,
Так, чтобы жители,
Ждущие тут,
Поняли. Видели.
Ауф!
     — Гут!

Желтым до зелени
Стал политрук.
Смотрит...
О Ленине вспомнил,
И вдруг
Он над оравою
Вражеских рот
Вытянул правую
Руку вперед —
И над оковами,
Бронзе вослед,
Вырос
        кованый
Силуэт.

Этим движением
От плеча,
Милым видением
Ильича
Смертник молоденький
В этот миг
Кровною родинкой
К душам приник...

Будто о собственном
Сыне — навзрыд
Бухтою óб стену
Море гремит!
Плачет, волнуется,
Стонет народ,
Глядя на улицу
Из ворот.

Мигом у цоколя
Каски сверк!
Вот его, сокола,
Вздернули вверх;
Вот уж у сонного
Очи зашлись...
Все же ладонь его
Тянется ввысь —

Бронзовой лепкою,
На́зло зверью,
Ясною, крепкою
Верой в зарю!

Керчь
1942

Я ЭТО ВИДЕЛ!

Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел. Своими глазами.
Понимаете? Видел. Сам.
Вот тут дорога. А там вон — взгорье.
Меж ними
вот этак —
ров.
Из этого рва подымается горе.
Горе — без берегов.

Нет! Об этом нельзя словами...
Тут надо рычать! Рыдать!
Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме,
Заржавленной, как руда.

Кто эти люди? Бойцы? Нисколько.
Может быть, партизаны? Нет.
Вот лежит лопоухий Колька —
Ему одиннадцать лет.

Тут вся родня его. Хутор Веселый.
Весь «самострой» — сто двадцать дворов.
Ближние станции, ближние села —
Все как заложники брошены в ров.
Лежат, сидят, всползают на бруствер.
У каждого жест. Удивительно свой!
Зима в мертвеце заморозила чувство,
С которым смерть принимал живой,
И трупы бредят, грозят, ненавидят...
Как митинг, шумит эта мертвая тишь.

В каком бы их ни свалило виде —
Глазами, оскалом, шеей, плечами
Они пререкаются с палачами,
Они восклицают: «Не победишь!»

Парень. Он совсем налегке.
Грудь распахнута из протеста.
Одна нога в худом сапоге,
Другая сияет лаком протеза.
Легкий снежок валит и валит...
Грудь распахнул молодой инвалид.
Он, видимо крикнул: «Стреляйте, черти!»
Поперхнулся. Упал. Застыл.
Но часовым над лежбищем смерти
Торчит воткнутый в землю костыль.
И ярость мертвого не застыла:
Она фронтовых окликает из тыла,
Она водрузила костыль, как древко,
И веха ее видна далеко.

Бабка. Эта погибла стоя.
Встала меж трупов и так умерла.
Лицо ее, славное и простое,
Черная судорога свела.
Ветер колышет ее отрепье...
В левой орбите застыл сургуч,
Но правое око глубоко в небе
    Между разрывами туч.
И в этом упреке деве пречистой
Рушенье веры дремучих лет:
«Коли на свете живут фашисты,
    Стало быть, бога нет».

Рядом истерзанная еврейка.
При ней ребенок. Совсем как во сне.
С какой заботой детская шейка
Повязана маминым серым кашне...
Матери сердцу не изменили:
Идя на расстрел, под пулю идя,
За час, за полчаса до могилы
Мать от простуды спасала дитя.
Но даже и смерть для них не разлука:
Не властны теперь над ними враги —

И рыжая струйка
из детского уха
Стекает
в горсть
материнской
руки.

Как страшно об этом писать. Как жутко.
Но надо. Надо! Пиши!
Фашизму теперь не отделаться шуткой:
Ты вымерил низость фашистской души,
Ты осознал во всей ее фальши
«Сентиментальность» пруссацких грез,
Так пусть же
сквозь их
голубые
вальсы
Горит материнская эта горсть.
Иди ж! Заклейми! Ты стоишь перед бойней.
Ты за руку их поймал — уличи!
Ты видишь, как пулею бронебойной
Дробили нас палачи,
Так загреми же, как Дант, как Овидий,
Пусть зарыдает природа сама,
Если
все это
сам ты
видел
И не сошел с ума.

Но молча стою над страшной могилой.
Что слова? Истлели слова.
Было время—писал я о милой,
О щелканье соловья.

Казалось бы, что в этой теме такого?
Правда? А между тем
Попробуй найти настоящее слово
Даже для этих тем.

А тут? Да ведь тут же нервы как луки,
Но строчки... глуше вареных вязиг.

Нет, товарищи: этой муки
Не выразит язык.

Он слишком привычен, поэтому беден,
Слишком изящен, поэтому скуп,
К неумолимой грамматике сведен
Каждый крик, слетающий с губ.

Здесь нужно бы... Нужно создать бы вече
Из всех племен от древка до древка
И взять от каждого все человечье,
Все прорвавшееся сквозь века —
Вопли, хрипы, вздохи и стоны,
Отгул нашествий, эхо резни...
Не это ль
наречье
му́ки бездонной
Словам искомым сродни?

Но есть у нас и такая речь,
Которая всяких слов горячее:
Врагов осыпает проклятьем картечь,
Глаголом пророков гремят батареи.
Вы слышите трубы на рубежах?
Смятение... Крики... Бледнеют громилы.
Бегут! Но некуда им убежать
От вашей кровавой могилы.

Ослабьте же мышцы. Прикройте веки.
Травою взойдите у этих высот.
Кто вас увидел, отныне навеки
Все ваши раны в душе унесет.

Ров... Поэмой ли скажешь о нем?
Семь тысяч трупов.
Семиты... Славяне...
Да! Об этом нельзя словами:
Огнем! Только огнем!

Керчь
1942

БАЛЛАДА О ТАНКЕ КВ

Посвящается
героическому экипажу танка —
товарищам Тимофееву, Останину,
Горбунову, Чернышеву и Чиркову.

1

По куполу танка ударил снаряд.
Сквозь щель прорывается дым и газ.
Волосы у бойцов горят.
От гари — слезы из глаз,
А танк, развив наступательный пыл,
В минное поле вступил.

2

И вдруг подымается дымный клуб...
Танк оседает. Толчки коротки.
Гребень трака зарылся вглубь,
Кружили впустую катки,—
И танк, одною правой гребя,
Вертелся вокруг себя.

3

А между тем наш удар отбит,
Пехота уже залегла в траве,
И вот начинается странный быт
У танка марки «КВ»:
Вдруг, оборвав огневой заслон,
Мертвым прикинулся он.

4

Мины его обдавали днем,
Прямой наводкой била картечь;
Ночью бутылки метали по нем,
Пытаясь его зажечь.
А он стоял среди вражьих троп,
Словно запаянный гроб.

5

Когда-то была его страшная сталь
Окрашена цехом под зелень и дым.
Теперь же, купаясь в пулях, он стал
Серебряно-седым

И по утрам исчезал, как во сне,
    Тая в голубизне...

6

И лишь орудийная маска[1] его,
Засалив свирепые скулы свои,
Недвижно глядела — но не мертво,
    А предрекая бои!
И так эта маска была страшна,
    Как если б дышала она.

7

Дни проходили. Но танк был нем.
Он стал, как этот пейзаж, знаком.
К чему же тогда его жечь? Зачем?
    Не лучше ли взять целиком?
Когда батальоны пройдут вперед,
    Сапер его отопрет.

8

И мертвый танк пощажен огнем,
Много ль таких валяется глыб?
А если кто и остался в нем,
    Конечно, давно погиб.
И, давши фото в газетке своей,
    Враги подписали: «Трофей».

9

Однако в «трофее» — пять сердец
Бились по-боевому в лад.
Однако в «трофее» каждый боец
    Втянулся в железный уклад:
Держа в порядке военный металл,
    Он напряженно ждал.

10

Пускай одышка. Дробь у виска.
Весь костяк изломан, измят...
Но жаркою верой в свои войска
    Жил броневой каземат —

---

[1] Маска — часть танкового орудия.

И дни эти были для всех пятерых
    Лучшими в жизни их.

11

Когда ты брошен самой судьбой
Туда, где дымит боевая тропа,
И вся страна следит за тобой
    И подвига ждет от тебя —
Высокая гордость волною морской
    Над темной ходит тоской.

12

Так и сжились. Завели уют:
Если курить воспрещается (дым!),
Зато они шепотком поют,
    Бреются по выходным
И каждую ночь, приоткрывши люк,
    Вдыхают весенний луг...

13

И каждую ночь Большая земля,
Как мать, окликала своих сынов:
По радио Спасская башня Кремля
    Била 12 часов,
И чудились в мире ночной синевы
    Родные рубины Москвы.

14

Прошло уже ровно пятнадцать дней.
Шестнадцатый шел. Был день как день.
Но стало ребятам дышать трудней,
    В глазах — кровавая тень...
И вдруг одна из фашистских колонн
    Вышла под их заслон.

15

Бояться ли пленников? Трупы они.
Танк безжизнен. Ну, ну! Бодрей!
Ведь в ярких ямах его брони,
    Изрытых огнем батарей,
Спокойно гниет дождевая вода...
    Слетаются птицы сюда.

16

Итак, деревню взять на прицел.
«Die erste Saxische Rote zum Drang!»[1]
И вдруг в тиши услыхал офицер,
Как засмеялся танк,
И чуть ли не маска, влитая в бронь,
Тихо сказала: «Огонь!»

1942

АДЖИ-МУШКАЙ

Кто всхлипывает тут? Слеза мужская
Здесь может прозвучать кощунством.
Встать!
Страна велит нам почести воздать
Великим мертвецам Аджи-Мушкая.
Воспрянь же, в мертвый погруженный сон,
Подземной цитадели гарнизон!

Здесь был военный госпиталь. Сюда
Спустились пехотинцы в два ряда,
Прикрыв движенье армии из Крыма.
В пещерах этих ожидал их тлен.
Один бы шаг, одно движенье мимо —
И пред тобой неведомое: плен!
Но, клятву всем дыханием запомня,
Бойцы, как в бой, ушли в каменоломни.

И вот они лежат по всем углам,
Где тьма нависла тяжело и хмуро —
Нет, не скелеты, а скорей скульптура,
С породой смешанная пополам.
Они белы, как гипс. Глухие своды
Их щедро осыпали в непогоды
Порошей своего известняка,
Порошу эту сырость закрепила,
И, наконец, как молот и зубило,
По ним прошло ваянье сквозняка.

---

[1] Первая Саксонская рота — в атаку! (*нем.*).

Во мглистых коридорах подземелья
Белеют эти статуи Войны.
Вон, как ворота, встали валуны,
За ними чья-то маленькая келья —
Здесь на опрятный автоматец свой
Осыпался костями часовой.

А в глубине кровать. Соломы пук.
Из-под соломы выбежала крыса.
Полуоткрытый полковой сундук,
Где сторублевок желтые огрызья,
И копотью свечи у потолка
Колонкою записанные числа,
И монумент хозяина полка —
Окаменелый страж своей отчизны.

Товарищ! Кто ты? Может быть, с тобой
Сидели мы во фронтовой столовой?
Из блиндажа, не говоря ни слова,
Быть может, вместе наблюдали бой?
Скитались ли на Южном берегу,
О Маяко́вском споря до восхода,
И я с того печального похода
Твое рукопожатье берегу?

Вот здесь он жил. Вел записи потерь.
А хоронил чуть дальше — на погосте.
Оттуда в эту каменную дверь
Заглядывали черепные кости,
И, отрываясь от текущих дел,
Печально он в глазницы им глядел
И узнавал Алешу или Костю.

А делом у него была вода.
Воды в пещерах не было. По своду
Скоплялись капли, брезжа, как слюда,—
И свято собирал он эту воду.
Часов по десять (падая без сил)
Сосал он камень, напоенный влагой,
И в полночь умирающим носил
Три четверти вот этой плоской фляги.

Вот так он жил полгода. Чем он жил?
Надеждой? Да. Конечно, и надеждой.

Но сквознячок у сердца ворошил
Какое-то письмо. И запах нежный
Пахнул на нас дыханием тепла:
Здесь клякса солнца пролита была.
И уж не оттого ли в самом деле
Края бумаги пеплом облетели?

«Папусенька!— лепечет письмецо.—
Зачем ты нам так очень мало пишешь?
Пиши мне, миленький, большие. Слышишь?
А то возьму обижуся — и все!
Наташкин папа пишет аж из Сочи.
Ну, до свидания. Спокойной ночи».

«Родной мой! Этот почерк воробья
Тебе как будто незнаком? Вот то-то
(За этот год, что не было тебя,
Проведена немалая работа).
Ребенок прав. Я также бы просила
Писать побольше. Ну, хоть иногда...
Тебе бы это родина простила.
Уж как-нибудь простила бы... Да-да!»

А он не слышит этих голосов.
Не вспомнит он Саратов или Нижний,
Средь хлопающих оживленных сов
Ушедший в камень. Белый. Неподвижный.
И все-таки коричневые орды
Не одолели стойкости его.
Как мощны плечи, поднятые гордо!
Какое в этом жесте торжество!

Недаром же, заметные едва
Средь жуткого учета провианта,
На камне нацарапаны слова
Слабеющими пальцами гиганта:

«Сегодня
вел
беседу у костра
о будущем падении
Берлина».

Да! Твой боец у смертного одра
Держался не одною дисциплиной.

Но вот к тебе в подземное жилище
Уже плывут живые голоса,
И постигают все твое величье
Металлом заблиставшие глаза.

Исполнены священного волненья,
В тебе легенду видя пред собой,
Шеренгами проходят поколенья,
Идущие из подземелья — в бой!

И ты нас учишь доблести военной,
Любви к Советской родине своей
Так показательно, так вдохновенно,
С такой бессмертной силою страстей,
Что, покидая известковый свод
И выступив кавалерийской лавой,
Мы будто слышим лозунг величавый:
«Во имя революции — вперед!»

Аджи-Мушкайские каменоломни
2—12 ноября 1943 г.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

●

РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,
полтораста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа —
наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба —
он почти не весит на руке...

Для того чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слышать свист,—
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви...

Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
— Вынесу ли? Хватит ли терпенья?
— Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.—

Дарья Власьевна,— еще немного,
день придет — над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной...
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.

А тебе — да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошелкою в руке.

Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть — Россия.
Стой же и мужайся, как она!

5 декабря 1941

ФЕВРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

I

Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова —
я тоже — ленинградская вдова.

Мы съели хлеб,
что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,

и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном...
И стыли ноги, и томилась свечка.
Вокруг ее слепого огонька
образовалось лунное колечко,
похожее на радугу слегка.

Когда немного посветлело небо,
мы вместе вышли за водой и хлебом
и услыхали дальней канонады
рыдающий, тяжелый, мерный гул:
то Армия рвала кольцо блокады,
вела огонь по нашему врагу.

II

А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина...
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
в кастрюльках воду голубую возят,
дрова и скарб, умерших и больных...

Так с декабря кочуют горожане
за много верст, в густой туманной мгле,
в глуши слепых, обледеневших зданий
отыскивая угол потеплей.

Вот женщина ведет куда-то мужа.
Седая полумаска на лице,
в руках бидончик — это суп на ужин.
Свистят снаряды, свирепеет стужа...
— Товарищи, мы в огненном кольце.

А девушка с лицом заиндевелым,
упрямо стиснув почерневший рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтинское кладбище везет.

Везет, качаясь,— к вечеру добраться б...
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.

Скинь шапку, гражданин!
Провозят ленинградца,
погибшего на боевом посту.

Скрипят полозья в городе, скрипят...
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
что слезы вымерзли у ленинградцев.

Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала:
объединяет, греет и ведет.

О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на Охтинском, на правом берегу.

III

Как мы в ту ночь молчали, как молчали...
Но я должна, мне надо говорить
с тобой, сестра по гневу и печали:
прозрачны мысли, и душа горит.

Уже страданьям нашим не найти
ни меры, ни названья, ни сравненья.
Но мы в конце тернистого пути
и знаем — близок день освобожденья.

Наверно, будет грозный этот день
давно забытой радостью отмечен:
наверное, огонь дадут везде,
во все дома дадут, на целый вечер.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце, во мраке, в голоде, в печали
мы дышим завтрашним,
свободным, щедрым днем,
мы этот день уже завоевали.

IV

Враги ломились в город наш свободный,—
крошились камни городских ворот...

Но вышел на проспект Международный
вооруженный трудовой народ.

Он шел с бессмертным
возгласом
в груди:
— Умрем,
но Красный Питер
не сдадим!..

Красногвардейцы, вспомнив о былом,
формировали новые отряды,
и собирал бутылки каждый дом
и собственную строил баррикаду.

И вот за это долгими ночами
пытал нас враг железом и огнем...
— Ты сдашься, струсишь,— бомбы нам
кричали,—
забьешься в землю, упадешь ничком!
Дрожа, запросят плена, как пощады,
не только люди — камни Ленинграда!—

Но мы стояли на высоких крышах
с закинутою к небу головой,
не покидали хрупких наших вышек,
лопату сжав немеющей рукой.

...Настанет день,
и, радуясь, спеша,
еще печальных не убрав развалин,
мы будем так наш город украшать,
как люди никогда не украшали.

И вот тогда на самом стройном зданье,
лицом к восходу солнца самого,
поставим мраморное изваянье
простого труженика ПВО.

Пускай стоит, всегда зарей объятый,
так, как стоял, держа неравный бой:
с закинутою к небу головой,
с единственным оружием — лопатой.

V

О древнее орудие земное,
лопата,
верная сестра земли!
Какой мы путь немыслимый с тобою
от баррикад до кладбища прошли.

Мне и самой порою не понять
всего, что выдержали мы с тобою...
Пройдя сквозь пытки страха и огня,
мы выдержали испытанье боем.

И каждый, защищавший Ленинград,
вложивший руку в пламенные раны,
не просто горожанин, а солдат,
по мужеству подобный ветерану.

Но тот, кто не жил с нами,— не поверит,
что в сотни раз почетней и трудней
в блокаде, в окруженье палачей
не превратиться в оборотня, в зверя...
. . . .

VI

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что как роса сияла эта радость,
угрюмо озаренная войной.

И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда.

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,

такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

О да, мы счастье страшное открыли —
достойно не воспетое пока, —
когда последней коркою делились,
последнею щепоткой табака;
когда вели полночные беседы
у бедного и дымного огня,
как будем жить,
когда придет победа,
всю нашу жизнь по-новому ценя.

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
как полдень жизни, будешь вспоминать
дом на проспекте Красных Командиров,
где тлел огонь и дуло от окна.

Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод.
Ликуя, плача, сердце позовет
и эту тьму, и голос мой, и холод,
и баррикаду около ворот.

Да здравствует, да царствует всегда
простая человеческая радость,
основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда!

Да здравствует суровый и спокойный,
глядевший смерти в самое лицо,
удушливое вынесший кольцо
как Человек,
как Труженик,
как Воин!

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют — Ленинград,
и шар земной гордится Ленинградом.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце и стуже, в голоде, в печали,

мы дышим завтрашним,
счастливым, щедрым днем,—
мы сами этот день завоевали.

И ночь ли будет, утро или вечер,
но в этот день мы встанем и пойдем
воительнице-армии навстречу
в освобожденном городе своем.

Мы выйдем без цветов,
                    в помятых касках,
в тяжелых ватниках,
                    в промерзших полумасках,
как равные, приветствуя войска.
И, крылья мечевидные расправив,
над нами встанет бронзовая Слава,
держа венок в обугленных руках.

Январь — февраль 1942

АННА АХМАТОВА

●

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что́ ныне лежит на весах
И что́ совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Февраль 1942

БУЛАТ ОКУДЖАВА

•

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ...

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли — за солдатом солдат...
До свидания, мальчики!
                                        Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад!
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите...
Но все-таки
Постарайтесь вернуться назад!
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься!—
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведем с ними счеты потом!
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
                                        Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

●

* * *

Его зарыли в шар земной.
А он был лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой
Без званий и наград.
Ему, как мавзолей, земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

1944

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

●

МЫ

Это время
трудновато для пера.
Маяковский

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки:
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.

Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперед, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатого плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх — и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва,
Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.

И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

1940

ПАВЕЛ КОГАН

●

ИЗ НЕДОПИСАННОЙ ГЛАВЫ

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда звенела и дымилась,
На берег рухнувши, вода.
Они нас выдумают снова —
Косая сажень, твердый шаг —
И верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими. Любыми.
Не очень умными подчас.
Мы наших девушек любили,
Ревнуя, мучась, горячась,
Мы были всякими. Но мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки
пробьемся мы!..
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я — патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю,

Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох, как пес, от ностальгии
В любом кокосовом раю.
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

1940—1941

ПИСЬМО

Жоре Лепскому

Вот и мы дожили,
Вот и мы получаем весточки
В изжеванных конвертах с треугольными
штемпелями,
Где сквозь запах армейской кожи,
Сквозь бестолочь
Слышно самое то,
То самое,
Как гудок за полями.
Вот и ты,
товарищ красноармеец
музвзвода,
Воду пьешь по утрам из заболоченных
речек.
А поля между нами,
А леса между нами и воды.
Человек ты мой,
Человек ты мой,
Дорогой ты мой человече!
А поля между нами,
А леса между нами.
(Россия!
Разметалась, раскинулась
По лежбищам, по урочищам.

Что мне звать тебя!
Разве голосом ее осилишь,
Если в ней, словно в памяти,
словно в юности:
Попадешь — не воротишься.)
А зима между нами.
(Зима ты моя,
Словно матовая,
Словно ро́сшитая,
На большак, большая, хрома ты,
На проселочную горбата,
А снега по тебе — громада,
Сине-синие, запорошенные.)
Я и писем тебе писать не научен.
А твои читаю,
Особенно те, что для женщины.
Есть такое в них самое,
Что ни выдумать, ни намучить,
Словно что-то поверено,
Потом потеряно,
Потом обещано.
(...А вы все трагической героиней,
А снитесь девочкой-неспокойкой.
А трубач «тари-тари-та» трубит:
«По койкам!»
А ветра́ сухие на Западной Украине.)
Я вот тоже любил одну сероглазницу,
Слишком взрослую, может быть,
слишком строгую.
А уеду и вспомню такой проказницей,
Непутевой такой, такой недотрогою.
Мы пройдем через это.
Мы затопчем это, как окурки,
Мы, лобастые мальчики невиданной
революции.
В десять лет мечтатели,
В четырнадцать — поэты и урки.
В двадцать пять — внесенные в смертные
реляции.
Мое поколение —
это зубы сожми и работай,
Мое поколение —
это пулю прими и рухни.

Если соли не хватит —
хлеб намочи по́том,
Если марли не хватит —
портянкой замотай тухлой.
Ты же сам понимаешь, я не умею бить
в литавры,
Мы же вместе мечтали, что пыль, что
ковыль, что криница.
Мы с тобой вместе мечтали пошляться
по Таврии
(Ну, по Крыму по-русски),
А шляемся по заграницам.
И когда мне скомандует пуля
«не торопиться»
И последний выход на снегу воронку
выжжет
(Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты
выжил),
Ты прости мне тогда, что я не писал
тебе писем.

А за нами женщины наши,
И годы наши босые,
И стихи наши,
И юность,
И январские рассветы.
А леса за нами,
А поля за нами —
Россия!
И наверно, земшарная Республика
Советов!

Вот и не вышло письма.
Не вышло письма,
Какое там!
Но я напишу,
Повинен.
Ведь я понимаю,
Трубач «тари-тари-та» трубит:
«По койкам!»
И ветра сухие на Западной Украине.

Декабрь, 1940

* * *

Нам лечь, где лечь,
И там не встать, где лечь.
. . . .
И, задохнувшись «Интернационалом»,
Упасть лицом на высохшие травы.
И уж не встать, и не попасть в анналы,
И даже близким славы не сыскать.

Апрель, 1941

МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ

●

* * *

Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю Котовского разум,
Который за час перед казнью
Тело свое граненое
Японской гимнастикой мучил.
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю мальчишек смелых,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,
Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом.
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю солдат революции,
Мечтающих над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет!

* * *

Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
Вертящихся пропеллерами сабель.

Я раньше думал: лейтенант
Звучит «налейте нам»,
И, зная топографию,
Он топает по гравию.

Война ж совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда —
черна от пота —
вверх
Скользит
по пахоте
пехота.

Марш!
И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промерзших ног
Наворачивается на чеботы
Весом хлеба в месячный паек.

На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино!

26 декабря 1942 года
Хлебниково — Москва

ВСЕВОЛОД ЛОБОДА

●

ПОГИБ ТОВАРИЩ

Во вражьем стане цели он разведал,
мечтал о встрече с милой над письмом,
читал статью про скорую победу,
и вдруг —
разрыв,
и он упал ничком.

Мы с друга окровавленного сняли
осколком просверленный партбилет,
бумажник,
серебристые медали.
А лейтенанту было
двадцать лет...

Берет перо,
согбен и озабочен,
бумажный демон, писарь полковой.
О самом страшном пишет покороче
привычною, недрогнувшей рукой.

Беду в письмо выплескивая разом,
он говорит:
«Ведь надо понимать,
что никакой прочувствованной фразой
нельзя утешить плачущую мать».

Она в слезах свое утопит горе,
покуда мы,
крещенные огнем,
врага утопим в пенящемся море,
на виселицу Гитлера сведем.

И женщина инстинктом материнским
отыщет сына дальние следы

в Курляндии,
под елью исполинской,
на скате безымянной высоты.

Седая мать увидит изумленно
на зелени могилы дорогой —
венок лугов,
как яркая корона,
возложенный неведомой рукой.

Блеснут в глаза цветы,
еще живые,
от латышей — сынку-сибиряку...
И гордость вспыхнет в сердце
и впервые
перехлестнет горячую тоску.

1944

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

●

ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ГОДА РОЖДЕНЬЯ

Вчера мы писали диктанты,
Чертили на досках круги,
А утром уже интенданты
Нам выдали сапоги.
В широкой армейской шинели
Мы ростом казались малы́,
Мы песни заливисто пели,
Скребли, провинившись, полы.
Когда же, идя на ученья,
Мы путали ногу подчас:
— Двадцать пятого года рожденья! —
С усмешкой кивали на нас.
Но фронт наступил!
Мы мужали
В сражениях день ото дня,
С соседом до битвы сдружаясь,
Друзей после битв хороня.
Орудия, танки, повозки
Гремели по городам,
И пели по-чешски и польски
Веселые девушки нам.
А в час, когда звезды студены,
Над онемевшей рекой
Немецкие аккордеоны
Рыдали рязанской тоской...

1946

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

●

* * *

Земли потрескавшейся корка.
Война. Далекие года...
Мой друг мне крикнул:
— Есть махорка? —
А я ему:— Иди сюда!..

И мы стояли у кювета,
Благословляя свой привал,
И он уже достал газету,
А я махорку доставал.

Слепил цигарку я прилежно
И чиркнул спичкой раз и два.
А он сказал мне безмятежно:
— Ты сам прикуривай сперва...—

От ветра заслонясь умело,
Я отступил на шаг всего,
Но пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего.

И он качнулся как-то зыбко,
Упал, просыпав весь табак,
И виноватая улыбка
Застыла на его губах.

И я не мог улыбку эту
Забыть в походе и в бою
И как шагали вдоль кювета
Мы с ним у жизни на краю.

Жара плыла, метель свистела,
А я забыть не смог того,
Как пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего...

1952

МАРГАРИТА АЛИГЕР

●

ЗОЯ

(Поэма)

> В первых числах декабря 1941 года в селе Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку, назвавшую себя Татьяной. Она оказалась московской школьницей Зоей Космодемьянской.
>
> (Из газет)

«Зоя» — невыдуманная поэма. Я писала ее в сорок втором году, через несколько месяцев после гибели Зои, по горячему следу ее короткой жизни и героической смерти. Когда пишешь о том, что было на самом деле, первое условие работы — верность истине, верность времени, и «Зоя», в сущности, стала поэмой и о моей юности, о нашей юности. Я писала в поэме обо всем, чем жили мы, когда воевали с немецким фашизмом, обо всем, что было для нас в те годы важно. И как трагической осенью сорок первого года, вечером Октябрьской годовщины, слушала вся страна речь Сталина из осажденной Москвы. Эта речь означала тогда очень много, так же как и ответ Зои на допросе: «Сталин на посту».

С тех пор прошло более двадцати пяти лет, густо насыщенных всенародными событиями и переживаниями, грозными потрясениями и прозрениями. Я пережила их всем своим существом и существованием, а Зоя нет. Я знаю оценку, данную Сталину и его деятельности историей, и этим я сегодня отличаюсь от Зои. Такого различия не было между нами, когда писалась поэма, и я не считаю себя вправе корректировать ее теперь с высоты своей сегодняшней умудренности. Я печатаю поэму так, как она была написана в сорок втором году, ради исторической и душевной правды той эпохи, потому что нужно знать правду о прошлом, чтобы полной мерой понимать правду настоящего.

Вступление

Я так приступаю к решенью задачи,
как будто конца и ответа не знаю.
Протертые окна бревенчатой дачи
раскрыты навстречу московскому маю.

Солнце лежит на высоком крылечке,
девочка с книгой сидит на пороге.

«На речке, на речке,
на том бережочке,
Мыла Марусенька белые ноги...»

И словно пронизана песенка эта
журчанием речки и смехом Маруси,
окрашена небом и солнцем прогрета...

«Плыли к Марусеньке
серые гуси...»

Отбросила книгу, вокруг поглядела.
Над медными соснами солнце в зените...
Откинула голову, песню допела:

«Вы, гуси, летите,
воды не мутите...»

Бывают на свете такие мгновенья,
такое мерцание солнечных пятен,
когда до конца исчезают сомненья
и кажется: мир абсолютно понятен.
И жизнь твоя будет отныне прекрасна —
и это навек, и не будет иначе.
Все в мире устроено прочно и ясно —
для счастья, для радости, для удачи.
Особенно это бывает в начале
дороги,
когда тебе лет еще мало
и если и были какие печали,
то грозного горя еще не бывало.
Все в мире открыто глазам человека.
Он гордо стоит у высокого входа.

...Почти середина двадцатого века.
Весна девятьсот сорок первого года.
Она начиналась экзаменом школьным,
тревогой неясною и дорогою,
манила на волю мячом волейбольным,
игрою реки, тополиной пургою.

Московские неповторимые весны.
Лесное дыхание хвои и влаги.
...Район Тимирязевки, медные сосны,
белья на веревках веселые флаги.
Как мудро, что люди не знают заране
того, что стоит неуклонно пред ними.
— Как звать тебя, девочка?
— Зоей.
— А Таня?
— Да, есть и такое хорошее имя.

Ну что же, поскольку в моей это власти
тебя отыскать в этой солнечной даче,
мне хочется верить, что ждет тебя счастье,
и я не желаю, чтоб было иначе.
В сияющей рамке зеленого зноя,
на цыпочки приподымаясь немножко,
выходит семнадцатилетняя Зоя,
московская школьница-длинноножка.

Первая глава

Жизнь была скудна и небогата.
Дети подрастали без отца.
Маленькая мамина зарплата —
месяц не дотянешь до конца.
Так-то это так, а на поверку
не скучали.
Вспомни хоть сейчас,
как купила мама этажерку,
сколько было радости у нас.
Столик переставь, кровати двигай,
шума и силенок не жалей.
Этажерка краше с каждой книгой,
с каждым переплетом веселей.
Скуки давешней как не бывало!

Стало быть, и вывод будет прост:
человеку нужно очень мало,
чтобы счастье встало в полный рост.

Девочка, а что такое счастье?
Разве разобрались мы с тобой?
Может, это значит — двери настежь,
в ветер окунуться с головой,
чтобы хвойный мир колол на ощупь
и горчил на вкус
                    и чтобы ты
в небо поднялась —
                    чего уж проще б! —
а потом спустилась с высоты.
Чтоб перед тобой вилась дорога,
ни конца, ни краю не видать.
Нам для счастья нужно очень много.
Столько, что и в сказке не сказать.

Если в сказке не сказать, так скажет
золотая песня, верный стих.
Пусть мечта земной тропинкой ляжет
у чиненых туфелек твоих.
Все, за что товарищи боролись,
все, что увидать Ильич хотел...
Чтоб уже не только через полюс —
вкруг планеты Чкалов полетел.
Чтобы меньше уставала мама
за проверкой письменных работ.
Чтоб у гор Сьерра-Гвадаррама
победил неистовый народ.
Чтоб вокруг сливались воедино
вести из газет, мечты и сны.
И чтобы папанинская льдина
доплыла отважно до весны.

Стала жизнь богатой и веселой,
ручейком прозрачным потекла.
Окнами на юг стояла школа,
вся из света, смеха и стекла.
Места много, мир еще не тесен.
Вечностью сдается каждый миг.

С каждым днем ты знаешь больше песен,
с каждым днем читаешь больше книг.
Девочка, ты все чему-то рада,
все взволнованней, чем день назад.
Ты еще не знаешь Ленинграда!
Есть еще на свете Ленинград!

Горячась, не уступая, споря,
милая моя, расти скорей.
Ты еще не видывала моря,
а у нас в Союзе сто морей.
Бегай по земле, не знай покоя,
все спеши увидеть и понять.
Ты еще не знаешь, что такое
самого любимого обнять.

Дверь толкнешь — и встанешь у порога.
Все-то мы с утра чего-то ждем.
Нам для счастья нужно очень много.
Маленького счастья не возьмем.
Горы на пути — своротим гору,
вычерпаем реки и моря.
Вырастай такому счастью впору,
девочка богатая моя.

* * *

И встал перед ней переполненный мир,
туманен и солнечен, горек и сладок,
мир светлых садов, коммунальных квартир,
насущных забот, постоянных нехваток,
различных поступков и разных людей.
Он встал перед ней и велел ей пробиться
сквозь скуку продмаговских очередей,
сквозь длинную склоку квартирных традиций.
Он встал перед ней, ничего не тая,
во всей своей сущности, трезвой и черствой.
И тут начинается правда твоя,
твое знаменитое единоборство.

Правда твоя.
Погоди, не спеши.
Ты глянула вдаль не по-детски сурово,

15

когда прозвучало в твоей тиши
это тяжелое русское слово.
Не снисходящее ни до чего,
пристрастное и неподкупное право.
Звучит это слово,
как будто его
Ильич произносит чуть-чуть картаво.
И столько в нем сухого огня,
что мне от него заслониться нечем,
как будто бы это взглянул на меня
Дзержинский,
накинув шинель на плечи.
И этому слову навеки дано
быть нашим знаменем и присягой.
Издали пахнет для нас оно
печатною краской, газетной бумагой.

Так вот ты какой выбираешь путь!
А что, если знаешь о нем понаслышке?
Он тяжкий.
Захочется отдохнуть,
но нет и не будет тебе передышки.
Трудна будет доля твоя, трудна.
Когда ты с прикушенною губою
из школы уходишь домой одна,
не зная, что я слежу за тобою,
или когда отвернешься вдруг,
чтобы никто не увидел, глотая
упрек педагога, насмешку подруг,
не видя, что я за тобой наблюдаю,
я подойду и скажу тебе:
— Что ж,
устала, измучилась, стала угрюмой.
А может, уже поняла: не дойдешь.
Пока еще можно свернуть, подумай.
Недолго в твои молодые лета
к другим, не к себе, относиться строже.
Есть прямолинейность и прямота,
но это совсем не одно и то же.
Подруги боятся тебя чуть чуть,
им неуютно и трудно с тобою.
Подумай: ты вынесешь этот путь?
Сумеешь пробиться ценою любою?

Но этот настойчивый, пристальный свет
глаз, поставленных чуточку косо.
Но ты подымаешься мне в ответ,
и стыдно становится мне вопроса.

И сделалась правда повадкой твоей,
порывом твоим и движеньем невольным
в беседах со взрослыми,
в играх детей,
в раздумьях твоих и в кипении школьном.
Как облачко в небе,
как след от весла,
твоя золотистая юность бежала.
Твоя пионерская правда росла,
твоя комсомольская правда мужала.
И шла ты походкой, летящей вперед,
в тебе приоткрытое ясное завтра,
и над тобою, как небосвод,
сияла твоя большевистская правда.

* * *

И, устав от скучного предмета,
о своем задумаешься ты.
...Кончатся зачеты.
Будет лето.
Сбивчивые пестрые мечты...
Ты отложишь в сторону тетрадку.
Пять минут потерпит! Не беда!
Ну, давай сначала,
по порядку.
Будет все, как в прошлые года.
По хозяйству сделать все, что надо,
и прибраться наскоро в дому,
убежать в березы палисада,
в желтую сквозную кутерьму.
И кусок косой недолгой тени
в солнечном мельканье отыскать,
и, руками охватив колени,
книжку интересную читать.
Тени листьев, солнечные пятна...
Голова закружится на миг.
У тебя составлен аккуратно
длинный список непрочтенных книг.

Сколько их!
                    Народы, судьбы, люди...
С ними улыбаться и дрожать.
Быть собой и знать, что с ними будет,
с ними жить и с ними умирать.
Сделаться сильнее и богаче,
с ними ненавидя и любя.

Комнатка на коммунальной даче
стала целым миром для тебя.
Вглядываться в судьбы их и лица,
видеть им невидимую нить.
У одних чему-то научиться
и других чему-то научить.
Научить чему-то.
                        Но чему же?
Прямо в душу каждого взглянуть,
всех проверить, всем раздать оружье,
всех построить и отправить в путь.
Жить судьбою многих в каждом миге,
помогать одним, винить других...

Только разве так читают книги?
Так, пожалуй, люди пишут их.

Может быть.
                    И ты посмотришь прямо
странными глазами.
                            Может быть...
С тайною тревогой спросит мама:
— Ты решила, кем ты хочешь быть?—
Кем ты хочешь быть!
                            И сердце взмоет
прямо в небо.
                    Непочатый край
дел на свете.
                    Мир тебе откроет
все свои секреты.
                        Выбирай!

Есть одно,
                заветное,
                        большое,—
как бы только путь к нему открыть?

До краев наполненной душою
обо всем с другими говорить.
Это очень много, понимаешь?
Силой сердца, воли и ума
людям открывать все то, что знаешь
и во что ты веруешь сама.
Заставлять их жить твоей тревогой,
выбирать самой для них пути.
Но откуда, как, какой дорогой
к этому величию прийти?

Можно стать учительницей в школе.
Этим ты еще не увлеклась?
Да, но это только класс, не боле.
Это мало, если только класс.
Встать бы так, чтоб слышны стали людям
сказанные шепотом слова.
Этот путь безжалостен и труден.
Да, но это счастье.
Ты права.
Ты права, родная, это счастье —
все на свете словом покорить.
Чтоб в твоей неоспоримой власти
было с целым миром говорить,
чтобы слово музыкой звучало,
деревом диковинным росло,
как жестокий шквал, тебя качало,
как ночной маяк, тебя спасло,
чтобы все, чем ты живешь и дышишь,
ты могла произнести всегда,
а потом спросила б землю:
— Слышишь? —
И земля в ответ сказала б:
— Да.

Как пилот к родному самолету,
молчаливый, собранный к полету,
трезвый и хмелеющий идет,
так и я иду в свою работу,
в каждый свой рискованный полет.
И опять я счастлива, и снова
песней обернувшееся слово
от себя самой меня спасет.

(Путник, возвращаясь издалека,
с трепетом глядит из-под руки —
так же ли блестят из милых окон
добрые, родные огоньки.

И такая в нем дрожит тревога,
что передохнуть ему нельзя.
Так и я взглянула от порога
в долгожданные твои глаза.

Но война кровава и жестока,
и, вернувшись с дальнего пути,
можно на земле
ни милых окон,
ни родного дома не найти.

Но осталась мне моя отвага,
тех, что не вернутся, голоса
да еще безгрешная бумага,
быстролетной песни паруса.)

* * *

Так и проходили день за днем.
Жизнь была обычной и похожей.
Только удивительным огнем
проступала кровь под тонкой кожей.
Стал решительнее очерк рта,
легче и взволнованней походка,
и круглее сделалась черта
детского прямого подбородка.
Только, может, плечики чуть-чуть
по-ребячьи вздернуты и узки,
но уже девическая грудь
мягко подымает ситец блузки.
И еще непонятая власть
в глубине зрачков твоих таится.
Как же это должен свет упасть,
как должны взлетать твои ресницы,
как должна ты сесть или привстать,
тишины своей не нарушая?
Только вдруг всплеснет руками мать:
— Девочка, да ты совсем большая!

Или, может, в солнечный денек,
на исходе памятного мая,
ты из дому выбежишь, дружок,
на бегу на цыпочки вставая,
и на старом платьице твоем
кружево черемуховой ветки.

— Зоя хорошеет с каждым днем,—
словом перекинутся соседки.

В школьных коридорах яркий свет.
Ты пройдешь в широком этом свете.
Юноша одних с тобою лет
удивится, вдруг тебя заметив.
Вздрогнет, покраснеет, не поймет.
Сколько лет сидели в классе рядом,
спорили, не ладили...

                    И вот
глянула косым коротким взглядом,
волосы поправила рукой,
озаренная какой-то тайной.
Так когда ж ты сделалась такой —
новой, дорогой, необычайной?
Нет, совсем особенной, не той,
что парнишку мучила ночами.
Не жемчужною киномечтой,
не красоткой с жгучими очами.
— Что ж таится в ней?
                    — Не знаю я.
— Что, она красивая?
                    — Не знаю.
Но, какая есть, она — моя,
золотая,
        ясная,
              сквозная.—
И увидит он свою судьбу
в девичьей летающей походке,
в прядке, распушившейся на лбу,
в ямочке на круглом подбородке.

(Счастье, помноженное на страданье,
в целом своем и дадут, наконец,

это пронзительное, как рыданье,
тайное соединение сердец.
Как началось оно?
Песнею русской?
Длинной беседой в полуночный час?
Или таинственной улочкой узкой,
никому неведомой, кроме нас?
Хочешь —
давай посмеемся, поплачем!
Хочешь —
давай пошумим,
помолчим!
Мы — заговорщики.
Сердцем горячим
я прикоснулась к тебе в ночи.)

Вот они — дела!
А как же ты?
Сердца своего не понимая,
ты жила.
Кругом цвели цветы,
наливались нивы силой мая.
Травы просыпались ото сна,
все шумнее делалась погода,
и стояла поздняя весна
твоего осьмнадцатого года.
За пронзенной солнцем пеленой
та весна дымилась пред тобою
странною, неназванной, иной,
тайной и заманчивой судьбою.
Что-то будет!
Скоро ли?
А вдруг!
Тополя цветут по Подмосковью,
и природа светится вокруг
странным светом,
может быть, любовью.

* * *

Ну вот.
Такой я вижу Зою
в то воскресенье, в полдне том,

когда военною грозою
пахнуло в воздухе сухом.
Теперь, среди военных буден,
в часок случайной тишины,
охотно вспоминают люди
свой самый первый день войны.
До мелочей припоминая
свой мир,
свой дом,
свою Москву,
усмешкой горькой прикрывая
свою обиду и тоску.

Ну что ж, друзья!
Недолюбили,
недоработали,
не так,
как нынче хочется, дожили
до первых вражеских атак.
Но разве мы могли б иначе
на свете жить?
Вины ничьей
не вижу в том, что мы поплачем,
бывало, из-за мелочей.
Мы все-таки всерьез дружили,
любили, верили всерьез.
О чем жалеть?
Мы славно жили,
как получилось, как пришлось.
Но сразу
вихрь,
толчок,
минута,
и, ничего не пощадив,
на полутоне сорван круто
с трудом налаженный мотив.
Свинцовым зноем полыхнуло,
вошло без стука в каждый дом
и наши окна зачеркнуло
чумным безжалостным крестом.
Крест-накрест синие полоски
на небо, солнце и березки,
на наше прошлое легли,

чтоб мы перед собой видали
войной зачеркнутые дали,
чтоб мы забыться не могли.
Глаза спросонок открывая,
когда хлестнет по окнам свет,
мы встрепенемся, вспоминая,
что на земле покоя нет.
Покоя нет и быть не может.
Окно как раненая грудь.
Нехитрый путь доныне прожит.
Отныне начат новый путь.
Все в мире стало по-другому.
Неверен шум, коварна тишь.
Ты выйдешь вечером из дому,
вокруг пытливо поглядишь.
Но даже в этой старой даче,
в тревожный погруженной мрак,
все изменилось, все иначе,
еще никто не знает как.

Вторая глава

С девятого класса, с минувшего лета,
У тебя была книжечка серого цвета.
Ее ты в отдельном кармане носила
и в месяц по двадцать копеек вносила.
Мы жили настолько свободно и вольно,
не помня о том, что бывает иначе,
что иногда забывали невольно,
что мы комсомольцы и что это значит.
Все праздником было веселым и дерзким,
жилось нам на свете светло и просторно.
Развеялось детство костром пионерским,
растаяло утренней песенкой горна.

Вы в мирное время успели родиться,
суровых препятствий в пути не встречали,
но ритмом былых комсомольских традиций
сердца возмужавшие застучали.
И в знойные ночи военного лета
вы всей своей кровью почуяли это.

Еще тебе игр недоигранных жалко,
а книг непрочитанных жаль, и еще ты
припрячешь — авось пригодится — шпаргалку.
А вдруг еще будут какие зачеты!
Еще вспоминаешь в тоске неминучей
любимых товарищей, старую парту...
Ты все это помнишь и любишь? Тем лучше.
Все это поставлено нынче на карту.
Настала пора, и теперь мы в ответе
за каждый свой взнос в комсомольском билете.
И Родина нынче с нас спрашивать вправе
за каждую буковку в нашем Уставе.
Тревожное небо клубится над нами.
Подходит война к твоему изголовью.
И больше нам взносы платить не рублями,
а может быть, собственной жизнью и кровью.

Притоптанным житом, листвою опалой,
сожженная солнцем, от пыли седая,

Советская Армия,
ты отступала,
на ноги истертые припадая.
Искрились волокна сухой паутины,
летели на юг неизменные гуси,
ты шла, покидая поля Украины,
ты шла, оставляя леса Беларуси.
А люди?
А дети?
Не буду, не буду...
Ты помнишь сама каждой жизнью своею.
Но кровь свою ты оставляла повсюду,
наверно, затем, чтоб вернуться за нею.
О запах шинельного черного пота!
О шарканье ног по кровавому следу!
А где-то уже подхихикивал кто-то,
трусливо и жалко пиная победу.
Как страшно и горько подумать, что где-то
уже суетились, шипя и ругая...
О чем ты?
Не вздрагивай, девочка, это
не те, за кого ты стоишь, дорогая.

Нет, это не те, чьи любимые люди
в окопах лежат у переднего края,
что в лад громыханью советских орудий
и дышат и верят.
Не те, дорогая.
Нет, это не те, что в казенном конверте,
в бессильных, неточных словах извещенья
услышали тихое сердце бессмертия,
увидели дальнее зарево мщенья.
Нет, это не те, что вставали за Пресню,
Владимирским трактом в Сибирь уходили,
что плакали, слушая русскую песню,
и пушкинский стих, как молитву, твердили.
Они — это нелюди, копоть и плесень,
мышиные шумы, ухмылки косые.
И нет у них родины, нет у них песен,
и нет у них Пушкина и России!
Но Зоя дрожит и не знает покоя,
от гнева бледнея,
от силы темнея:
«Мне хочется что-нибудь сделать такое,
чтоб стала победа слышней и виднее!»

Стояло начало учебного года.
Был утренний воздух прохладен и сладок.
Кленовая, злая, сухая погода,
шуршание листьев и шорох тетрадок.
Но в этом учебном году по-другому.
Зенитки, взведенные в сквериках рыжих.
В девятом часу ты выходишь из дому,
совсем налегке,
без тетрадок и книжек.
Мне эта дорога твоя незнакома.
В другой стороне двести первая школа.
Осенней Москвой,
по путевке райкома,
идет комсомолка в МК комсомола.
Осенней Москвою,
октябрьской Москвою...

Мне видится взгляд твой, бессонный и жесткий.
Я только глаза от волненья закрою
и сразу увижу твои перекрестки.

Душе не забыть тебя,
сердцу не бросить,
как женщину в горе,
без маски, без позы.
Морщины у глаз,
промелькнувшая проседь,
на горьких ресницах повисшие слезы.
Все запахи жизни, проведенной вместе,
опять набежали, опять налетели,
обрызганной дождиком кровельной жести
и острой листвы, отметенной к панели.
Все двигалось,
шло,
продолжалась работа,
и каждая улица мимо бежала.
Но тихая, тайная, тонкая нота
в осенних твоих переулках дрожала.
Звенели твои подожженные клены,
но ты утешала их теплой рукою.
Какой же была ты тогда?
Оскорбленной?
Страдающей?
Плачущей?
Нет, не такою.
Ты за ночь одну на глазах возмужала,
собралась,
ремни подтянула потуже.
Как просто заводы в тайгу провожала
и между бойцами делила оружье.
Какою ты сделалась вдруг деловитой.
Рассчитаны, взвешены жесты и взгляды.
Вколочены рельсы,
и улицы взрыты,
и в переулках стоят баррикады.
Как будто с картины о битвах на Пресне,
которая стала живой и горячей.
И нету похожих стихов или песни.
Была ты
Москвой —
и не скажешь иначе.
И те, кто родился на улицах этих
и здесь, на глазах у Москвы, подрастали,

о ком говорили вчера, как о детях,
сегодня твоими солдатами стали.
Они не могли допустить, чтоб чужая
железная спесь их судьбу затоптала.

А там,
у Звенигорода,
у Можая,
шла грозная битва людей и металла.
В твоих переулках росли баррикады.
Железом и рвами Москву окружали.
В МК
отбирали людей в отряды.
В больших коридорах
толпились, жужжали
вчерашние мальчики, девочки, дети,
встревоженный рой золотого народа.

Сидел молодой человек в кабинете,
москвич октября сорок первого года.
Пред ним проходили повадки и лица.
Должно было стать ему сразу понятно,
который из них безусловно годится,
которого надо отправить обратно.
И каждого он оглядывал сразу,
едва появлялся тот у порога,
улавливал еле заметные глазу
смущенье,
случайного взгляда тревогу.
Он с разных сторон их старался увидеть,
от гнева в глазах до невольной улыбки,
смутить,
ободрить,
никого не обидеть,
любою ценою не сделать ошибки.
Сначала встречая, потом провожая,
иных презирал он,
гордился другими.
Вопросы жестокие им задавая,
он сам себя тоже опрашивал с ними.
И если ответить им было нечем,
и если они начинали теряться,

он всем своим юным чутьем человечьим
до сути другого старался добраться.
Октябрьским деньком, невысоким и мглистым,
в Москве, окруженной немецкой подковой,
товарищ Шелепин,
ты был коммунистом
со всей справедливостью нашей суровой.
Она отвечала сначала стоя,
сдвигая брови при каждом ответе:
— Фамилия?
— Космодемьянская.
— Имя?
— Зоя.
— Год рождения?
— Двадцать третий.—
Потом она села на стул.
А дальше
следил он, не кроется ли волненье,
и нет ли рисовки,
и нет ли фальши,
и нет ли хоть крошечного сомненья.

Она отвечала на той же ноте.
— Нет, не заблудится.
— Нет, не боится.
И он, наконец, записал в блокноте
последнее слово свое:
«Годится».
Заметил ли он на ее лице
играющий отблеск далекого света?
Ты не ошибся
в этом бойце,
секретарь Московского Комитета.

* * *

Отгорели жаркие леса,
под дождем погасли листья клена.
Осень поднимает в небеса
отсыревшие свои знамена.
Но они и мокрые горят,
занимаясь с западного края.
Это полыхает не закат,
это длится бой, не угасая.

Осень, осень. В век не позабудь
тихий запах сырости и тленья,
выбитый, размытый, ржавый путь,
мокрые дороги отступленья,
и любимый город без огня,
и безлюдных улочек морщины...

Ничего, мы дожили до дня
самой долгожданной годовщины.
И возник из ветра и дождя
смутного, дымящегося века
гордый голос нашего вождя,
утомленный голос человека.

Длинный фронт — живая полоса
человечьих судеб и металла.
Сквозь твоих орудий голоса
слово невредимым пролетало.
И разноязыкий пестрый тыл,
зной в Ташкенте, в Шушенском — поземка.
И повсюду Сталин говорил,
медленно, спокойно и негромко.

Как бы мне надежнее сберечь
вечера того любую малость?
Как бы мне запомнить эту речь,
чтоб она в крови моей осталась?
Я запомню неотступный взгляд
вставшей в строй московской молодежи
и мешки арбатских баррикад —
это, в сущности, одно и то же.
Я запомню старого бойца,
ставшего задумчивей и строже,
и сухой огонь его лица —
это, в сущности, одно и то же.
Он сказал:
— Победа!
Будет так.
Я запомню, как мой город ожил,
сразу став и старше и моложе,
первый выстрел наших контратак —
это, в сущности, одно и то же.

Это полновесные слова
невесомым схвачены эфиром.
Это осажденная Москва
гордо разговаривает с миром.
Дети командиров и бойцов,
бурей разлученные с отцами,
будто голос собственных отцов,
этот голос слушали сердцами.
Жены, проводившие мужей,
не заплакавшие на прощанье,
в напряженной тишине своей
слушали его, как обещанье.
Грозный час.
Жестокая пора.
Севастополь. Ночь. Сапун-гора
тяжело забылась после боя.
Длинный гул осеннего прибоя.
Только вдруг взорвались рупора.
Это Сталин говорит с тобою.
Ленинград безлюдный и седой.
Кировская воля в твердом взгляде.
Встретившись лицом к лицу с бедой,
Ленинград не молит о пощаде.
Доживешь?
Дотерпишь?
Достоишь?
Достою, не сдамся!
Раскололась
чистая, отчетливая тишь,
и в нее ворвался тот же голос.
Между ленинградскими домами
о фанеру, мрамор и гранит
бился голос сильными крылами.
Это Сталин с нами говорит.
Предстоит еще страданий много,
но твоя отчизна победит.
Кто сказал:
«Воздушная тревога!»?
Мы спокойны — Сталин говорит.

Что такое радиоволна?
Это колебания эфира.

Это значит — речь его слышна
отовсюду, в разных точках мира.
Прижимают к уху эбонит
коммунисты в харьковском подполье...
Клонится березка в чистом поле...
Это Сталин с нами говорит.

Что такое радиоволна?
Я не очень это понимаю.

Прячется за облако луна.
Ты бежишь, кустарники ломая.
Все свершилось. Все совсем всерьез.
Ты волочишь хвороста вязанку.
Между расступившихся берез
ветер настигает партизанку.
И она, вступая в лунный круг,
ветром захлебнется на минуту.
Что со мною приключилось вдруг?
Мне легко и славно почему-то.

Что такое радиоволна?
Ветер то московский —
ты и рада.
И, внезапной радости полна,
Зоя добежала до отряда.

Как у нас в лесу сегодня сыро!
Как ни бейся, не горит костер.
Ветер пальцы тонкие простер.
Может быть, в нем та же дрожь эфира?
Только вдруг как вспыхнула береста!
Это кто сказал, что не разжечь?
Вот мы и согрелись!
Это просто
к нам домчалась сталинская речь.
Будет день большого торжества.
Как тебе ни трудно — верь в победу!

И летит осенняя листва
по ее невидимому следу.

* * *

За остановившейся рекою
партизаны жили на снегу.
Сами отрешившись от покоя,
не давали отдыха врагу.

Ко всему привыкнешь понемногу.
Жизнь прекрасна! Горе — не беда!
Разрушали, где могли, дорогу,
резали связные провода.
Начались декабрьские метели.
Дули беспощадные ветра.
Под открытым небом три недели,
греясь у недолгого костра,
спит отряд, и звезды над отрядом...

Как бы близко пуля ни была,
если даже смерть почти что рядом,
люди помнят про свои дела,
думают о том, что завтра будет,
что-то собираются решить.
Это правильно.
На то мы люди.
Это нас спасает, может быть.

И во мраке полночи вороньей
Зоя вспоминает в свой черед:
«Что там в Тимирязевском районе?
Как там мама без меня живет?
Хлеб, наверно, ей берет соседка.
Как у ней с дровами?
Холода!
Если дров не хватит, что тогда?»

А наутро донесла разведка,
что в селе Петрищеве стоят,
отдыхают вражеские части.
— Срок нам вышел, можно и назад.
Можно задержаться... В нашей власти.
— Три недели мы на холоду.
Отогреться бы маленько надо.—
Смотрит в землю командир отряда.

И сказала Зоя:
— Я пойду.
Я еще нисколько не устала.
Я еще успею отдохнуть.

Как она негаданно настала,
жданная минута.
Добрый путь!
Узкая ладошка холодна —
от мороза или от тревоги?
И уходит девочка одна
по своей безжалостной дороге.

* * *

Тишина, ах, какая стоит тишина!
Даже шорохи ветра нечасты и глухи.
Тихо так, будто в мире осталась одна
эта девочка в ватных штанах и треухе.

Значит, я ничего не боюсь и смогу
сделать все, что приказано...
Завтра не близко.
Догорает костер, разожженный в снегу,
и последний дымок его стелется низко.

Погоди еще чуточку, не потухай.
Мне с тобой веселей. Я согрелась немного.
Над Петрищевом — три огневых петуха.
Там, наверное, шум, суета и тревога.

Это я подожгла!
Это я!
Это я!
Все исполню, верна боевому приказу.
И сильнее противника воля моя,
и сама я невидима вражьему глазу.
Засмеяться?
Запеть?
Погоди, погоди!..
Вот когда я с ребятами встречусь, когда я...

Сердце весело прыгает в жаркой груди,
и счастливей колотится кровь молодая.

Ах, какая большая стоит тишина!
Приглушенные елочки к шороху чутки.

Как досадно, что я еще крыл лишена.
Я бы к маме слетала хоть на две минутки.
Мама, мама,
                    какой я была до сих пор?
Может быть, недостаточно мягкой и нежной?
Я другою вернусь.
                         Догорает костер.
Я одна остаюсь в этой полночи снежной.
Я вернусь,
               я найду себе верных подруг,
стану сразу доверчивей и откровенней...

Тишина, тишина нарастает вокруг.
Ты сидишь, обхвативши руками колени.
Ты одна.
Ах, какая стоит тишина!..
Но не верь ей, прислушайся к ней, дорогая.
Тихо так, что отчетливо станет слышна
вся страна,
               вся война,
                         до переднего края.
Ты услышишь все то, что не слышно врагу.
Под защитным крылом этой ночи вороньей
заскрипели полозья на крепком снегу,
тащат трудную тягу разумные кони.
Мимо сосенок четких и лунных берез,
через линию фронта, огонь и блокаду,
нагруженный продуктами красный обоз
осторожно и верно ползет к Ленинграду.
Люди, может быть, месяц в пути, и назад
не вернет их ни страх, ни железная сила.
Это наша тоска по тебе, Ленинград,
наша русская боль из немецкого тыла.
Чем мы можем тебе хоть немного помочь?
Мы пошлем тебе хлеба, и мяса, и сала.

Он стоит,
               погруженный в осадную ночь,
этот город,
               которого ты не видала.

Он стоит под обстрелом чужих батарей.
Рассказать тебе, как он на холоде дышит?
Про его матерей,
потерявших детей
и тащивших к спасенью чужих ребятишек.
Люди поняли цену того, что зовут
немудреным таинственным именем жизни,
и они исступленно ее берегут,
потому что — а вдруг? — пригодится Отчизне.
Это проще — усталое тело сложить,
никогда и не выйдя к переднему краю.
Слава тем, кто решил до победы дожить!
Понимаешь ли, Зоя?
— Я все понимаю.
Понимаю.
Я завтра проникну к врагу,
и меня не заметят,
не схватят,
не свяжут.
Ленинград, Ленинград!
Я тебе помогу.
Прикажи мне!
Я сделаю все, что прикажут...
И как будто в ответ тебе,
будто бы в лад
застучавшему сердцу
услышь канонаду.
На высоких басах начинает Кронштадт,
и Малахов курган отвечает Кронштадту.
Проплывают больших облаков паруса
через тысячи верст человечьего горя.
Артиллерии русской гремят голоса
от Балтийского моря до Черного моря.
Севастополь.
Но как рассказать мне о нем?
На светящемся гребне девятого вала
он причалил к земле боевым кораблем,
этот город,
которого ты не видала.
Сходят на берег люди. Вздыхает вода.
Что такое геройство?
Я так и не знаю.

Севастополь...

Давай помолчим...

Но тогда,

понимаешь, он был еще жив.

— Понимаю!

Понимаю.

Я завтра пойду и зажгу

и конюшни и склады согласно приказу.
Севастополь, я завтра тебе помогу!
Я ловка и невидима вражьему глазу.

Ты невидима вражьему глазу.

А вдруг...

Как тогда?

Что тогда?

Ты готова на это?

Тишина, тишина нарастает вокруг.
Подымается девочка вместо ответа.
Далеко-далеко умирает боец...
Задыхается мать, исступленно рыдая,
страшной глыбой заваленный, стонет отец,
и сирот обнимает вдова молодая.
Тихо так, что ты все это слышишь в ту ночь,
потрясенной планеты взволнованный житель:
— Дорогие мои, я хочу вам помочь!
Я готова.

Я выдержу все.

Прикажите!

А кругом тишина, тишина, тишина...
И мороз

не дрожит,

не слабеет,

не тает...

И судьба твоя завтрашним днем решена.
И дыханья

и голоса

мне не хватает.

Третья глава

Вечер освещен сияньем снега.
Тропки завалило, занесло.

Запахами теплого ночлега
густо дышит русское село.
Путник, путник, поверни на запах,
в сказочном лесу не заблудись.
На таинственных еловых лапах
лунной бахромою снег повис.

Мы тебя, как гостя, повстречаем.
Место гостю красное дадим.
Мы тебя согреем крепким чаем,
молоком душистым напоим.

Посиди, подсолнушки полузгай.
Хорошо в избе в вечерний час!
Сердцу хорошо от ласки русской.
Что же ты сторонишься от нас?

Будто все, как прежде.
Пышет жаром
докрасна натопленная печь.
Но звучит за медным самоваром
непевучая, чужая речь.

Грязью перепачканы овчины.
Людям страшно, людям смерть грозит.
И тяжелым духом мертвечины
от гостей непрошеных разит.

Сторонись от их горючей злобы.
Обойди нас,
страшен наш ночлег.
Хоронись в лесах, в полях, в сугробах,
добрый путник, русский человек.

Что же ты идешь, сутуля плечи?
В сторону сворачивай скорей!
Было здесь селенье человечье,
а теперь здесь логово зверей.
Были мы радушны и богаты,
а теперь бедней худой земли.

В сумерки
немецкие солдаты
путника
к допросу привели.

* * *

Как собачий лай, чужая речь.
...Привели ее в избу большую.
Куртку ватную сорвали с плеч.
Старенькая бабка топит печь.
Пламя вырывается, бушуя...
Сапоги с трудом стянули с ног.
Гимнастерку сняли, свитер сняли.
Всю, как есть,
от головы до ног,
всю обшарили и обыскали.
Малые ребята на печи
притаились,
смотрят и не дышат.
Тише, тише, сердце, не стучи,
пусть враги тревоги не услышат.
Каменная оторопь — не страх.
Плечики остры, и руки тонки.
Ты осталась в стеганых штанах
и в домашней старенькой кофтенке.
И на ней мелькают там и тут
мамины заштопки и заплатки,
и родные запахи живут
в каждой сборочке и в каждой складке.
Все, чем ты дышала и росла,
вплоть до этой кофточки измятой,
ты с собою вместе принесла —
пусть глядят фашистские солдаты.
Постарался поудобней сесть
офицер,
бумаги вынимая.
Ты стоишь пред ним, какая есть,—
тоненькая,
русская,
прямая.
Это все не снится, все всерьез.
Вот оно надвинулось, родная.
Глухо начинается допрос.

— Отвечай!
— Я ничего не знаю.—
Вот и все.
Вот это мой конец.
Не конец. Еще придется круто.
Это все враги,
а я — боец.
Вот и наступила та минута.
— Отвечай, не то тебе капут!—
Он подходит к ней развалкой пьяной.
— Кто ты есть и как тебя зовут?
Отвечай!
— Меня зовут Татьяной.

* * *

(Можно мне признаться?
Почему-то
ты еще родней мне оттого,
что назвалась в страшную минуту
именем ребенка моего.
Тоненькая смуглая травинка,
нас с тобой разбило, разнесло.
Унесло тебя, моя кровинка,
в дальнее татарское село.
Как мне страшно!..
Только бы не хуже.
Как ты там, подруженька, живешь?
Мучаешь кота,
купаешь куклу в луже,
прыгаешь и песенки поешь.
Дождь шумит над вашими полями,
облака проходят над Москвой,
и гудит пространство между нами
всей моей беспомощной тоской.
Как же вышло так, что мы не вместе?
Длинным фронтом вытянулся бой.
Твой отец погиб на поле чести.
Мы одни на свете,
я — с тобой.
Почему же мы с тобою розно?
Чем же наша участь решена?
Дымен ветер,
небо дышит грозно,
требует ответа тишина.

Начинают дальние зенитки,
и перед мучителем своим
девочка молчит под страхом пытки,
называясь именем твоим.

Родина,
        мне нет другой дороги.
Пусть пройдут, как пули, сквозь меня
все твои раненья и тревоги,
все порывы твоего огня!
Пусть во мне страданьем отзовется
каждая печаль твоя и боль.
Кровь моя твоим порывом бьется.
Дочка,
        отпусти меня,
                        позволь.
Все, как есть, прости мне, дорогая.
Вырастешь, тогда поговорим.
Мне пора!
            Горя и не сгорая,
терпит пытку девочка другая,
называясь именем твоим.)

* * *

Хозяйка детей увела в закут.
Пахнет капустой, скребутся мыши.
— Мама, за что они ее бьют?
— За правду, доченька. Тише, тише...
— Мама, глянь-ка в щелочку, глянь:
у нее сорочка в крови.
Мне страшно, мама, мне больно!..
— Тише, доченька, тише, тише...
— Мама, зачем она не кричит?
Она небось железная?
Живая бы давно закричала.
— Тише, доченька, тише, тише...
— Мама, а если ее убьют,
стало быть, правду убили тоже?
— Тише, доченька, тише...—
                                    Нет!
Девочка, слушай меня без дрожи.
Слушай,
        тебе одиннадцать лет.

Если ни разу она не заплачет,
что бы ни делали изверги с ней,
если умрет,
но не сдастся —
                    значит,
правда ее даже смерти сильней.
Лучшими силами в человеке
я бы хотела тебе помочь,
чтобы запомнила ты навеки
эту кровавую, страшную ночь.
Чтобы чудесная Зоина сила,
как вдохновенье, тебя носила,
стала бы примесью крови твоей.
Чтобы, когда ты станешь большою,
сердцем горячим,
верной душою
ты показала, что помнишь о ней.

* * *

Неужели на свете бывает вода?
Может быть, ты ее не пила никогда
голубыми,
          большими, как небо,
                              глотками?
Помнишь, как она сладко врывается в рот?
Ты толкаешь ее языком и губами,
и она тебе в самое сердце течет.
Воду пить...
            Вспомни, как это было.
                                    Постой!
Можно пить из стакана —
                        и вот он пустой.
Можно черпать ее загорелой рукою.
Можно к речке сбежать,
                       можно к луже припасть,
и глотать ее,
             пить ее,
                     пить ее всласть.
Это сон,
        это бред,
                 это счастье такое!
Воду пьешь, словно русскую песню поешь,
словно ветер глотаешь над лунной рекою.

Как бы славно, прохладно она потекла...
— Дайте пить...—
истомленная девушка просит.
Но горящую лампочку, без стекла,
к опаленным губам ее изверг подносит.
Эти детские губы,
сухие огни,
почерневшие, стиснутые упрямо.
Как недавно с усильем лепили они
очень трудное,
самое главное —
«мама».
Пели песенку,
чуть шевелились во сне,
раскрывались, взволнованы страшною
сказкой,
перепачканы ягодами по весне,
выручали подругу удачной подсказкой.
Эти детские губы,
сухие огни,
своевольно очерчены женскою силой.
Не успели к другим прикоснуться они,
никому не сказали
«люблю»
или
«милый».
Кровяная запекшаяся печать.
Как они овладели святою наукой
не дрожать,
ненавидеть,
и грозно молчать,
и надменней сжиматься под смертною мукой.
Эти детские губы,
сухие огни,
воспаленно тоскующие по влаге,
без движенья,
без шороха
шепчут они,
как признание, слово бойцовской присяги.

* * *

Стала ты под пыткою Татьяной,
онемела, замерла без слез.

Босиком,
в одной рубашке рваной,
Зою выгоняли на мороз.
И своей летающей походкой
шла она под окриком врага.
Тень ее, очерченная четко,
падала на лунные снега.

Это было все на самом деле,
и она была одна, без нас.
Где мы были?
В комнате сидели?
Как могли дышать мы в этот час?
На одной земле,
под тем же светом,
по другую сторону черты?
Что-то есть чудовищное в этом.
— Зоя, это ты или не ты?

Снегом запорошенные прядки
коротко остриженных волос.
— Это я,
не бойтесь,
все в порядке.
Я молчала.
Кончился допрос.
Только б не упасть, ценой любою...—
Окрик:
— Рус! —
И ты идешь назад.
И опять глумится над тобою
гитлеровской армии солдат.

Русский воин,
юноша, одетый
в справедливую шинель бойца,
ты обязан помнить все приметы
этого звериного лица.
Ты его преследовать обязан,
как бы он ни отступал назад,
чтоб твоей рукою был наказан
гитлеровской армии солдат,

чтобы он припомнил, умирая,
на снегу кровавый Зоин след.

Но постой, постой, ведь я не знаю
всех его отличий и примет.
Малого, большого ль был он роста?
Черномазый,
рыжий ли?
Бог весть!
Я не знаю. Как же быть?
А просто.
Бей любого!
Это он и есть.
Встань над ним карающей грозою.
Твердо помни:
это он и был,
это он истерзанную Зою
по снегам Петрищева водил.
И покуда собственной рукою
ты его не свалишь наповал,
я хочу, чтоб счастья и покоя
воспаленным сердцем ты не знал.
Чтобы видел,
будто бы воочию,
русское село —
светло как днем.
Залит мир декабрьской лунной ночью,
пахнет ветер дымом и огнем.
И уже почти что над снегами,
легким телом устремясь вперед,
девочка
последними шагами
босиком в бессмертие идет.

* * *

Коптящая лампа, остывшая печка.
Ты спишь или дремлешь, дружок?
...Какая-то ясная-ясная речка,
зеленый крутой бережок.

Приплыли к Марусеньке серые гуси,
большими крылами шумят...

Вода достает по колено Марусе,
но белые ноги горят...
Вы, гуси, летите, воды не мутите,
пускай вас домой отнесет...
От песенки детской до пытки немецкой
зеленая речка течет.

Ты в ясные воды ее загляделась,
но вдруг повалилась ничком.
Зеленая речка твоя загорелась,
и все загорелось кругом.

Идите скорее ко мне на подмогу!
Они поджигают меня.
Трубите тревогу, трубите тревогу!
Спасите меня от огня!

Допрос ли проходит?
Собаки ли лают?
Все сбилось и спуталось вдруг.
И кажется ей, будто села пылают,
деревни пылают вокруг.
Но в пламени этом шаги раздаются.
Гремят над землею шаги.
И падают наземь,
и в страхе сдаются,
и гибнут на месте враги.
Гремят барабаны, гремят барабаны,
труба о победе поет.
Идут партизаны, идут партизаны,
железное войско идет.

Сейчас это кончится.
Боль прекратится.
Недолго осталось терпеть.
Ты скоро увидишь любимые лица,
тебе не позволят сгореть.
И вся твоя улица,
вся твоя школа
к тебе на подмогу спешит...

Но это горят не окрестные села —
избитое тело горит.

Но то не шаги, не шаги раздаются —
стучат топоры у ворот.
Сосновые бревна стоят и не гнутся.
И вот он готов, эшафот.

* * *

Лица непроспавшиеся хмуры,
будто бы в золе или в пыли.
На рассвете из комендатуры
Зоину одежду принесли.
И старуха, ежась от тревоги,
кое-как скрывая дрожь руки,
на твои пылающие ноги
натянула старые чулки.
Светлым ветром память пробегала
по ее неяркому лицу:
как-то дочек замуж отдавала,
одевала бережно к венцу.
Жмурились от счастья и от страха,
прижимались к высохшей груди...
Свадебным чертогом встала плаха,—
голубица белая, гряди!
Нежили,
голубили,
растили,
а чужие провожают в путь.

— Как тебя родные окрестили?
Как тебя пред богом помянуть?

Девушка взглянула краем глаза,
повела ресницами верней...

Хриплый лай немецкого приказа —
офицер выходит из дверей.
Два солдата со скамьи привстали,
и, присев на хромоногий стул,
он спросил угрюмо:
— Где ваш Сталин? —
Ты сказала:
— Сталин на посту.

Вдумайтесь, друзья, что это значит
для нее
        в тот час,
                в тот грозный год...
...Над землей рассвет еще плывет.
Дымы розовеют.
                Это начат
новый день сражений и работ.
Управляясь с хитрыми станками,
в складке губ достойно скрыв печаль,
женщина домашними руками
вынимает новую деталь.
Семафоры,
        рельсы,
                полустанки,
скрип колес по мерзлому песку.
Бережно закутанные танки
едут на работу под Москву.
Просыпаются в далеком доме
дети, потерявшие родных.
Никого у них на свете: кроме
родины. Она согреет их.
Вымоет, по голове погладит,
валенки натянет, — пусть растут! —
молока нальет, за стол посадит.
Это значит — Сталин на посту.

Это значит:
        вдоль по горизонту,
где садится солнце в облака,
по всему развернутому фронту
бой ведут советские войска.
Это значит:
        до сердцебиенья,
до сухого жжения в груди
в черные недели отступленья
верить, что победа впереди.
Это значит:
        наши самолеты
плавно набирают высоту.
Дымен ветер боя и работы.
Это значит — Сталин на посту.

Это значит:
вставши по приказу,
только бы не вскрикнуть при врагах, —
ты идешь,
не оступясь ни разу,
на почти обугленных ногах.

* * *

Как морозно!
Как светла дорога
утренняя, как твоя судьба!
Поскорей бы!
Нет, еще немного!
Нет, еще не скоро...
От порога...
по тропинке...
до того столба...
Надо ведь еще дойти дотуда,
этот длинный путь еще прожить...
Может ведь еще случиться чудо.
Где-то я читала...
Может быть!..
Жить...
Потом не жить...
Что это значит?
Видеть день...
Потом не видеть дня...
Это как?
Зачем старуха плачет?
Кто ее обидел?
Жаль меня?
Почему ей жаль меня?
Не будет
ни земли,
ни боли...
Слово «жить»...
Будет свет,
и снег,
и эти люди.
Будет все, как есть.
Не может быть!
Если мимо виселицы прямо
все идти к востоку — там Москва.

Если очень громко крикнуть: «Мама!»
Люди смотрят.
Есть еще слова...
— Граждане,
не стойте,
не смотрите!
(Я живая, — голос мой звучит.)
Убивайте их, травите, жгите!
Я умру, но правда победит!
Родина! —
Слова звучат, как будто
это вовсе не в последний раз.
— Всех не перевешать,
много нас!
Миллионы нас!.. —
Еще минута —
и удар наотмашь между глаз.
Лучше бы скорей,
пускай уж сразу,
чтобы больше не коснулся враг.
И уже без всякого приказа
делает она последний шаг.
Смело подымаешься сама ты.
Шаг на ящик,
к смерти
и вперед.
Вкруг тебя немецкие солдаты,
русская деревня,
твой народ.
Вот оно!
Морозно, снежно, мглисто...
Розовые дымы... Блеск дорог...
Родина!
Тупой сапог фашиста
выбивает ящик из-под ног.

(Жги меня, страдание чужое,
стань родною мукою моей.
Мне хотелось написать о Зое
так, чтоб задохнуться вместе с ней.
Мне хотелось написать про Зою,
чтобы Зоя начала дышать,

чтобы стала каменной и злою
русская прославленная мать.
Чтоб она не просто погрустила,
уронив слезинку на ладонь.
Ненависть — не слово,
это — сила,
бьющий безошибочно огонь.
Чтобы эта девочка чужая
стала дочкой тысяч матерей.
Помните о Зое, провожая
в путь к победе собственных детей.

Мне хотелось написать про Зою,
чтобы той, которая прочтет,
показалось: тропкой снеговою
в тыл врага сама она идет.
Под шинелью спрятаны гранаты.
Ей дано заданье.
Все всерьез.
Может быть, немецкие солдаты
ей готовят пытку и допрос?
Чтоб она у совести спросила,
сможет ли,
и поняла:
«Смогу!»
Зоя о пощаде не просила.
Ненависть — не слово, это — сила,
гордость и презрение к врагу.
Ты, который встал на поле чести,
русский воин,
где бы ты ни был,
пожалей о ней, как о невесте,
как о той, которую любил.
Но не только смутною слезою
пусть затмится твой солдатский взгляд.
Мне хотелось написать про Зою
так, чтоб ты не знал пути назад.
Потому что вся ее отвага,
устремленный в будущее взгляд, —
шаг к победе,
может быть, полшага,
но вперед,
вперед, а не назад.

Шаг к победе —
это очень много.
Оглянись, подумай в свой черед
и ответь обдуманно и строго,
сделал ли ты этот шаг вперед?
Близкие,
товарищи,
соседи,
все, кого проверила война,
если б каждый сделал шаг к победе,
как бы к нам приблизилась она!
Нет пути назад!
Вставай грозою.
Что бы ты ни делал, ты — в бою.

Мне хотелось написать про Зою,
будто бы про родину свою.
Вся в цветах, обрызганных росою,
в ярких бликах утренних лучей...
Мне хотелось написать про Зою
так, чтоб задохнуться вместе с ней.
Но когда в петле ты задыхалась,
я веревку с горла сорвала.
Может, я затем жива осталась,
чтобы ты в стихах не умерла.)

Навсегда сохрани фотографию Зои.
Я, наверно, вовеки ее позабыть не смогу.
Это девичье тело,
не мертвое
и не живое.
Это Зоя из мрамора
тихо лежит на снегу.
Беспощадной петлей перерезана тонкая шея.
Незнакомая власть в запрокинутом лике твоем.
Так любимого ждут,
сокровенной красой хорошея,
изнутри озаряясь таинственным женским огнем.
Только ты не дождалась его, снеговая невеста.
Он — в солдатской шинели,
на запад лежит его путь,
может быть, недалеко от этого страшного места,
где ложились снежинки на строгую девичью грудь.

Вечной силы и слабости неповторимо единство.
Ты совсем холодна, а меня прожигает тоска.
Не ворвалось в тебя, не вскипело в тебе материнство,
теплый ротик ребенка не тронул сухого соска.
Ты лежишь на снегу.
О, как много за нас отдала ты,
чтобы гордо откинуться чистым прекрасным лицом!
За доспехи героя,
за тяжелые ржавые латы,
за светлое блаженство быть храбрым бойцом.
Стань же нашей любимицей,
символом правды и силы,
чтоб была наша верность, как гибель твоя, высока.
Мимо твоей занесенной снегами могилы —
на запад, на запад!—
идут,
присягая,
войска.

Эпилог

Когда страна узнала о войне,
в тот первый день,
в сумятице и бреде,
я помню, я подумала о дне,
когда страна узнает о победе.
Каким он будет, день великий тот?
Конечно, солнце!
Непременно лето!
И наш любимый город зацветет
цветами электрического света.
И столько самолетов над Москвой,
и город так волнующе чудесен,
и мы пойдем раздвинутой Тверской
среди цветов, и музыки, и песен.
Смеясь и торжествуя, мы пойдем,
Сплетая руки в тесные объятья.
Все вместе мы!
Вернулись в каждый дом
мужья и сыновья, отцы и братья.
Война окончена!
Фашизма в мире нет!
Давайте петь и ликовать, как дети!

И первый год прошел,
как день,
как десять лет,
как несколько мгновений,
как столетье.
Год отступлений, крови и утрат.
Потерь не счесть,
страданий не измерить.
Припомни все и оглянись назад —
и разум твой откажется поверить.
Как многих нет,
и не сыскать могил,
и памятников славы не поставить.
Но мы живем, и нам хватило сил.
Всех сил своих мы не могли представить.
Выходит, мы сильней самих себя,
сильнее камня и сильнее стали.
Всей кровью ненавидя и любя,
мы вынесли,
дожили,
достояли.
Мы достоим!
Он прожит, этот год.
Мы выросли, из нас иные седы.
Но это все пустое!
Он придет,
он будет,
он наступит,
День Победы!
Пока мы можем мыслить, говорить
и подыматься по команде: «К бою!»,
пока мы дышим и желаем жить,
мы видим этот день перед собою.
Она взойдет, усталая заря,
согретая дыханием горячим,
живою кровью над землей горя
всех тех, о ком мы помним и не плачем.
Не можем плакать.
Слишком едок дым,
и солнце светит слишком редким светом...
Он будет, этот день,
но не таким,
каким он представлялся первым летом.

Пускай наступит в мире тишина.
Без пышных фраз,
без грома,
без парада
судьба земли сегодня решена.
Не надо песен.
Ничего не надо.
Снять сапоги и ноги отогреть,
поесть, умыться и поспать по чести...

Но мы не сможем дома усидеть,
и все-таки мы соберемся вместе,
и все-таки, конечно, мы споем
ту тихую,
ту русскую,
ту нашу.
И встанем и в молчанье разопьем
во славу павших дружескую чашу.
За этот день отдали жизнь они.
И мы срываем затемненье с окон.
Пусть загорятся чистые огни
во славу павших в воздухе высоком.
Смеясь и плача, мы пойдем гулять,
не выбирая улиц,
как попало,
и незнакомых будем обнимать
затем, что мы знакомых встретим мало.
Мой милый друг, мой сверстник, мой сосед!
Нам этот день — за многое награда.
Война окончена. Фашизма в мире нет.
Во славу павших радоваться надо.
Пусть будет солнце,
пусть цветет сирень,
пусть за полночь затянутся беседы...
Но вот настанет следующий день,
тот первый будний день за праздником Победы.
Стук молотов, моторов и сердец...

И к творчеству вернувшийся художник
вздохнет глубоко и возьмет резец.
Резец не дрогнет в пальцах осторожных.

Он убивал врагов,
он был бойцом,
держал винтовку сильными руками.
Что хочет он сказать своим резцом?
Зачем он выбрал самый трудный камень?
Он бросил дом, работу и покой,
он бился вместе с тысячами тысяч
затем, чтоб возмужавшею рукой
лицо победы из гранита высечь.
В какие дали заглядишься ты,
еще неведомый,
уже великий?
Но мы узнаем Зоины черты
в откинутом,
чудесном,
вечном лике.

Май — сентябрь
1942

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

●

СЫН

Памяти младшего лейтенанта
Владимира Павловича Антокольского,
павшего смертью храбрых
6 июня 1942 года

1

— Вова! Я не опоздал? Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь,
Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть,
Слез не в силах с личика смахнуть,
Голову не в силах запрокинуть,
Глубже всеми легкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьется никакой рассвет?

Видишь — вот сквозь вьющуюся зелень
Светлый дом в прохладе и в тени,
Вот мóсты над кручами расселин.
Ты мечтал их строить. Вот они.

Чувствуешь ли ты, что в это утро
Будешь рядом с ней, плечо к плечу,
С самой лучшей, с самой златокудрой,
С той, кого назвать я не хочу?

Слышишь, слышишь, слышишь канонаду?
Это наши к западу пошли.
Значит, наступленье. Значит, надо
Подыматься, встать с сырой земли.

И тогда из дали неоглядной,
Из далекой дали фронтовой,

Отвечает сын мой ненаглядный
С мертвою горящей головой:

— Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня — о, не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и в крови.

Мы летим и бьем крылами в тучи,
Боевые павшие друзья.
Так сплотился наш отряд летучий,
Что назад вернуться нам нельзя.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки в мирозданье.
Больше мы не встретимся с тобой.

2

Мой сын погиб. Он был хорошим сыном,
Красивым, добрым, умным, смельчаком.
Сейчас метель гуляет по лощинам,
Вдоль выбоин, где он упал ничком.
Метет метель и в рог охрипший дует,
И в дымоходах воет, и вопит
В развалинах.
А мне она диктует
Счета смертей, счета людских обид.

Как двое встретились? Как захотели
Стать близкими? В какую из ночей
Затеплился он в материнском теле,
Тот синий огонек, еще ничей?
Пока он спит, и тянется, и тянет
Ручонки вверх, ты все ему отдашь.
Но погоди, твой сын на ножки встанет,
Потребует свистульку, карандаш.
Ты на плечи возьмешь его. Тогда-то
Заполыхает синий огонек.
Начало детства, праздничная дата,
Ничем не примечательный денек.

В то утро или в тот ненастный вечер
Река времен в спокойствии текла,

И крохотное солнце человечье
Стучалось в мир для света и тепла.

Но разве это, разве тут начало?
Начала нет, как, впрочем, нет конца.
Жизнь о далеком будущем молчала,
Не огорчала попусту отца.
Она была прекрасна и огромна
Все те года, пока мой мальчик рос,—
Жизнь облаков, аэродромов, комнат,
Оркестров, зимних вьюг и летних гроз.

И мальчик рос. Ему ерошил кудри
Весенний ветер, зимний — щеки жег.
И он летел на лыжах в снежной пудре
И плавал в море — бедный мой дружок.
Он музыку любил, ее широкий
Скрипичный вихорь, боевую медь.
Бывало, он садится за уроки,
А радио над ним должно греметь,
Чтоб в комнату набились до отказа
Литавры и фаготы вперебой,
Баян из Тулы, и зурна с Кавказа,
И позывные станции любой.

Он ждал труда, как воздуха и корма:
Чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь.
Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы в дальний путь,
Макеты сцен, не игранных в театре,
Модели шхун, не плывших никуда...
Его мечты хватило б жизни на три
И на три века — так он ждал труда.
И он любил следить, как вырастали
Дома на мирных улицах Москвы,
Как великаны из стекла и стали
Купались в мирных бликах синевы.

Он столько шин стоптал велосипедом
По всем Садовым, за Москва-рекой
И столько пленки перепортил «фэдом»,
Снимая всех и все, что под рукой.
И столько раз, ложась и встав с постели,
Уверен был: «Нет, я не одинок...»

Что он любил еще? Бродить без цели
С товарищами в выходной денек,
Вплоть до зимы без шапки. Неприлично?
Зато удобно, даже горячо.
Он в сутолоке праздничной, столичной
Как дома был. Что он любил еще?

Он жил в Крыму то лето. В жарком полдне
Сверкал морской прилив во весь раскат.
Сверкал песок. Сверкала степь, наполнив
Весь мир звонками крохотных цикад.
Он видел все до точки, не обидел
Мельчайших брызг морского серебра.
И в первый раз он девочку увидел
Совсем другой и лучшей, чем вчера.
И девочка внезапно убежала.
И звонкий смех еще звучал в ушах,
Когда в крови почувствовал он жало
Внезапной грусти, чаще задышав.
Но отчего грустить? Что за причина
Ему бродить между приморских скал?
Ведь он не мальчик, но и не мужчина,
Грубил девчонкам, за косы таскал.
Так что же это, что же это, что же
Такое, что щемит в его груди?
И, сразу окрылен и уничтожен,
Он знал, что жизнь огромна впереди.
Он в первый раз тогда мечтал о жизни.
Все кончено. То был последний раз.

Ты, море, всей гремящей солью брызни,
Чтоб подтвердить печальный мой рассказ.
Ты, высохший степной ковыль, наполни
Весь мир звонками крохотных цикад.
Сегодня нет ни девочки, ни полдня...
Метет метель, метет во весь раскат.
Сегодня нет ни мальчика, ни Крыма...
Метет метель, трубит в охрипший рог,
И только грозным заревом багрима
Святая даль прифронтовых дорог.
И только по щеке, в дыму махорки,
Ползет скупая, трудная слеза,

Да карточка в защитной гимнастерке
Глядит на мир, глядит во все глаза.
И только еженощно в разбомбленном,
Ограбленном старинном городке
Поет метель о юноше влюбленном,
О погребенном — тут, невдалеке.

Гостиница. Здесь, кажется, он прожил
Ночь или сутки. Кажется, что спал
На этой жесткой коечке, похожей
На связку железнодорожных шпал.
В нескладных сапогах по коридору
Протопал утром. Жадно мыл лицо
Под этим краном. Посмеялся вздору
Какому-нибудь. Вышел на крыльцо,
И перед ним открылся разоренный
Старинный этот русский городок,
В развалинах, так ясно озаренный
Июньским солнцем.
                    И уже гудок
Вдали заплакал железнодорожный.
И младший лейтенант вздохнул слегка:
Москва в тумане, в прелести тревожной
Была так невозможно далека.
Опять запел гудок, совсем осипший
В неравной схватке с песней ветровой.
А поезд шел все шибче, шибче, шибче
С его открыткой первой фронтовой.

Все кончено. С тех пор прошло полгода.
За окнами — безлюдье, стужа, мгла.
Я до зари не сплю. Меня невзгода
В гостиницу вот эту завлекла.
В гостинице живут недолго, сутки,—
Встают чуть свет, спешат на фронт, в Москву.
Метет метель, мешается в рассудке,
А все метет...
                    И где-нибудь во рву
Вдруг выбьется из сил метель-старуха,
Прильнет к земле и слушает, дрожа,—
Там, может быть, ее детеныш рухнул
Под елкой молодой, у блиндажа.

3

Я слышал взрывы тыщетонной мощи,
Распад живого, смерти торжество.
Вот где рассказ начнется. Скажем проще —
Вот западня для сына моего.
Ее нашел в пироксилине химик,
А металлург в обойму загвоздил.
Ее хранили пачками сухими,
Но злость не знала никаких удил.
Она звенела в сейфах у банкиров,
Ползла хитро и скалилась мертво,
Змеилась, под землей траншеи вырыв,—
Вот западня для сына моего.

А в том году спокойном, двадцать третьем,
Когда мой мальчик только родился,
Уже присматривалась к нашим детям
Та сторона, ощеренная вся.
Гигантский город видел я когда-то
В зеленых вспышках мертвенных реклам.
Он был набит тщеславием, как ватой,
И смешан с маргарином пополам.
В том городе дрались и целовались,
Рожали или гибли ни за что,
И пели «Deutschland, Deutschland über alles...»
Все было этим лаком залито.

...Как жизнь черна, обуглена. Как густо
Заляпаны разгулом облака.
Как вздорожали пиво и капуста,
Табак и соль. Не хватит и мелка,
Чтоб надписать растущих цен колонки.
Меж тем убийцы наших сыновей
Спят сладко, запеленаты в пеленки,
Спят и не знают участи своей.

И ты, наш давний недруг, кем бы ни был,
С тяжелым, бритым, каменным лицом,
На женщин жаден, падок на сверхприбыль,—
Ты в том году стал, как и я, отцом.
Да. Твой наследник будет чистой крови,
Румян, голубоглаз и белобрыс.

Вотан по силе, Зигфрид по здоровью,—
Отдай приказ — он рельсу бы разгрыз.
Безжалостно, открыто и толково
Его с рожденья ввергнули во тьму.
Такого сына ждешь ты?— Да, такого.
Ему ты отдал сердце?— Да, ему.

Вот он в снегу, твой отпрыск, отработан,
Как рваный танк. Попробуй оторви
Его от снега. Закричи: «Ферботен!»
И впейся в рот в запекшейся крови.
Хотел ли ты для сына ранней смерти?
Хотел иль нет, ответом не помочь.
Не я принес плохую весть в конверте,
Не я виной, что ты не спишь всю ночь.
Что там стучит в висках твоих склерозных?
Чья тень в оконный ломится квадрат?
Она пришла из мглы ночей морозных.
Тень эта — я. Ну как, не слишком рад?
Твой час пришел.
Вставай, старик.
Пора нам.
Пройдем по странам, где гулял твой сын.
Нам будет жизнь его — киноэкраном.
А смерть — лучом прожектора косым.

Над нами небо, как раздранный свиток,
Все в письменах мильонолетних звезд.
Под нами вспышки лающих зениток.
Дым разоренных человечьих гнезд.
Снега. Снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Все неоглядней горе, все мертвей.

По деревням, на пустошах горючих
Творятся ночью страшные дела.
Раскачиваются, скрипя на крючьях,
Повешенных иссохшие тела.
Расстреляны и догола раздеты,
В обнимку с жизнью брошены во рвы,
Глядят ребята, женщины и деды
Стеклянным отраженьем синевы.

Кто их убил? Кто выклевал глаза им?
Кто, ошалев от страшной наготы,
В крестьянском скарбе шарил, как хозяин?
Кто? — Твой наследник. Стало быть, и ты...

Ты, воспитатель, сделал эту сволочь
И, пращуру пещерному под стать,
Ты из ребенка вытравил, как щелочь,
Все, чем хотел и чем он мог бы стать.
Ты вызвал в нем до возмужанья похоть,
Ты до рожденья злобу в нем разжег.
Видать, такая выдалась эпоха,—
И вот трубил казарменный рожок,
И вот печатал шагом он гусиным
По вырубленным рощам и садам,
А ты хвалился безголовым сыном,
Ты любовался Каином, Адам.
Ты отнял у него миры Эйнштейна
И песни Гейне вырвал в день весны.
Арестовал его ночные тайны
И обыскал мальчишеские сны.

Еще мой сын не мог прочесть, не знал их,
Руссо и Маркса, еле к ним приник,—
А твой на площадях, в спортивных залах
Костры сложил из тех бессмертных книг.
Тот день, когда мой мальчик кончил школу,
Был светел и по-юношески свеж.
Тогда твой сын, охрипший, полуголый,
Шел с автоматом через наш рубеж.
Ту, пред которой сын мой с обожаньем
Не смел дышать, так он берег ее,
Твой отпрыск с гиком, с жеребячьим ржаньем
Взял и швырнул на землю, как тряпье.

...Снега. Снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Все неоглядней горе, все мертвей.
Все путаней нехоженые тропы,
Все сумрачней снега, все лиловей.
Передний край. Восточный фронт Европы —
Вот место встречи наших сыновей.

Мы на поле с тобой остались чистом,—
Как ни вывертывайся, как ни плачь!
Мой сын был комсомольцем.
Твой — фашистом.
Мой мальчик — человек.
А твой — палач.
Во всех боях, в столбах огня сплошного,
В рыданьях человечества всего,
Сто раз погибнув и родившись снова,
Мой сын зовет к ответу твоего.

4

Идут года — тридцать восьмой, девятый.
Зарублен рост на притолке дверной.
Воспоминанья в клочьях дымной ваты
Бегут, не слившись, где-то стороной,
Не точные.
Так как же мне вглядеться
В былое сквозь туманное стекло,
Чтобы его неконченное детство
В неначатую юность перешло...

Стамеска. Клещи. Смятая коробка
С гвоздями всех калибров. Молоток.
Насос для шин велосипедных. Пробка
С перегоревшим проводом. Моток
Латунной проволки. Альбом для марок.
Сухой разбитый краб. Карандаши.
Вот он, назад вернувшийся подарок,
Кусок его мальчишеской души,
Хотевшей жить. Не много и не мало —
Жить. Только жить. Учиться и расти.
И детство уходящее сжимало
Обломки рая в маленькой горсти.
Вот все, что детство на земле добыло.
А юность ничего не отняла
И, уходя на смертный бой, забыла
Обломки рая в ящиках стола.

Рисунки. Готовальня. Плоский ящик
С палитрой. Два нетронутых холста.
И тюбики впервые настоящих,
Впервые взрослых красок. Пестрота
Беспечности. Все — начерно. Все — наспех.

Все с ощущеньем, что наступит день —
В июле, в январе или на пасхе —
И сам осудишь эту дребедень.
И он растет, застенчивый и милый,
Нескладный, большерукий наш чудак.
Вчера его бездействие томило,
Сегодня он тоскует просто так.
Холст грунтовать? Писать сиеной, охрой
И суриком, чтобы в мазне лучей
Возник рассвет, младенческий и мокрый,
Тот первый на земле, еще ничей...
Или рвануть по клавишам, не зная
В глаза всех этих до-ре-ми-фа-соль,
Чтоб в терцинах запрыгала сквозная
Смеющаяся штормовая соль...

Опять рисунки.
                              В пробах и пробелах
Сквозит игра, ребячливость и лень.
Так, может быть, в порывах оробелых
О ствол рогами чешется олень
И, напрягая струны сухожилий,
Готов сломать ветвистую красу.
Но ведь оленю ревностно служили
Все мхи и травы в сказочном лесу.
И, невидимка в лунном одеянье,
Пригубил он такой живой воды,
Что разве лишь охотнице Диане
Удастся отыскать его следы.
А за моим мужающим оленем
Уже неслись, трубя во все рога,
Уже гнались, на горе поколеньям,
Железные выжлятники врага.

Идут года — тридцать восьмой, девятый
И пограничный год, сороковой.
Идет зима, вся в хлопьях снежной ваты,
И вот он, сорок первый, роковой.

В июне кончил он десятилетку.
Три дня шатались об руку мы с ним.
Мой сын дышал во всю грудную клетку,
Но был какой-то робостью томим.

В музее, жадно глядя на Гогена,
Он словно сжался, словно не хотел
Ожогов солнца в сварке автогенной
Всех этих смуглых обнаженных тел.
Но все светлей навстречу нам вставала
Разубранная, как для торжества,
Вся, от Кремля до Земляного вала,
Оправленная в золото Москва.
Так призрачно задымлены бульвары,
Так бойко льется разбитная речь.
Так скромно за листвой проходят пары,—
О, только б ранний праздник свой сберечь
От глаз чужих.
Все, что добыто в школе,
Что юношеской сделалось душой,—
Все на виду.
Не праздник это, что ли?
Так чокнемся, сынок. Расти большой.

На скатерти в грузинском ресторане
Пятно вина так ярко расплылось.
Зачесанный назад с таким стараньем,
Упал на брови завиток волос.
Так хохоча бесхитростно, так важно
И все же снисходительно ворча,
Он наконец пригубил пламень влажный,
Впервой не захлебнувшись сгоряча.
Пей. В молодости человек не жаден.
Потом, над перевальной крутизной,
Поймешь ты, что в любой из виноградин
Нацежен тыщелетний пьяный зной.
И где-нибудь в тени чинар, в духане,
В шмелином звоне старческой зурны
Почувствуешь священное дыханье
Тысячелетий.

Как озарены
И камни, и фонтан у Моссовета,
И девочка, что на него глядит
Из-под ладони. Слишком много света
В глазах людей. Он окна золотит,
И зайчиками прыгает по стенам,
И пурпуром ошпарил облака,

И если верить стонущим антеннам,
Работа света очень велика.
И запылали щеки. И глубоко
Мерцали пониманием глаза.
Не мальчика я вел, а полубога
В открытый настежь мир. И вот гроза,
Слегка цыганским встряхивая бубном,
С охапкой молний, свившихся в клубок,
Шла в облаках над городом стотрубным
Навстречу нам. И это видел бог.
Он радовался ей. Ведь пеньем грома
Не прерван пир, а только начался.
О, только не спешить. Пешком до дома
Дойдем мы ровным ходом в полчаса.

Москва, Москва. Как много гроз шумело
Над славной головой твоей, Москва!
Что ж ты притихла? Что ж, белее мела,
Не разделяешь с нами торжества?
Любимая. Дай руку нам обоим.
Отец и сын, мы — граждане твои.
Благослови, Москва, нас перед боем.
Что там ни суждено — благослови!
Спасибо этим памятникам мощным,
Огням театров, пурпуру знамен
И сборищам спасибо полунощным,
Где каждый зван и каждый заменен
Могучим гребнем нового прибоя,—
Волна волну смывает, и опять
Сверкает жизнью лоно голубое.
Отбоя нет. Никто не смеет спать.
За наше счастье — сами мы в ответе.
А наше горе — не твоя вина.

Так проходил наш праздник. На рассвете,
В четыре тридцать началась война.

5

Мы не всегда от памяти зависим.
Случайный беглый след карандаша,
Случайная открытка в связке писем —
И возникает юная душа.

Вот, вот она мелькнула, недотрога,
И усмехнулась, и ушла во тьму,—
Единственная, безраздельно строго,
Сполна принадлежащая ему.
Здесь почерк вырабатывался: точный,
Косой, немного женский, без прикрас.
Тогда он жил в республике восточной,
Без близких и вне дома в первый раз —
В тылу, в военной школе.
И вначале
Был сдержан в письмах: «Я здоров. Учусь.
Доволен жизнью».
Письма умолчали
О трудностях, не выражали чувств.
Гораздо позже начал он делиться
Тоской и беспокойством: мать, сестра.
Но скоро в письмах появились лица
Товарищей. И грусть не так остра.
И вот он подавал, как бы на блюде,
Как с пылу-жару, вывод многих дней:
«Здесь, папа, замечательные люди...»
И снова дружба. И опять о ней.
Навстречу людям. Всюду с ними в ногу.
Навстречу людям — цель и торжество.
Так вырабатывался понемногу
Мужской характер сына моего.

Еще одна тетрадка. Очень чисто,
Опрятность школьной выучки храня,
Здесь вписан был закон артиллериста,
Святая математика огня,
Святая точность логики прицельной.
Вот чем дышал и жил он этот год,
Что выросло в нем искренно и цельно
В сознанье долга, в нежеланье льгот.
Ни разу не отвлекся. Что он видел?
Предвидел ли погибельный багрец,
Своей души последнюю обитель?

И вдруг рисунок на полях: дворец
В венецианских арках. Тут же рядом
Под кипарисом пушка.
Но постой!

В какой задумчивости смутным взглядом
Смотрел он на рисунок свой простой?
Какой итог, какой душевный опыт
Здесь выражен, какой мечты глоток?
Итог не подведен. Глоток не допит.
Оборвалась и подпись:
«В. Анток...»

6

Ты, может быть, встречался с этим рослым,
Веселым, смуглым школьником Москвы,
Когда, райкомом комсомола послан
Копать противотанковые рвы,
Он уезжал.
Шли многие ребята
Из Пресни, от Кропоткинских ворот,
Из центра, из Сокольников, с Арбата,—
Горластый, бойкий, боевой народ.
В теплушках пели, что спокойно может
Любимый город спать,
что хороша
Страна родная,
что главы не сложит
Ермак на диком бреге Иртыша.

А может быть, встречался ты и раньше
С каким-нибудь из наших сыновей —
На Черном море или на Ла-Манше,
На всей планете солнечной твоей.
В какой стране, под гул каких прелюдий
На фабрике, на рынке иль в порту
Тот смуглый школьник пробивался в люди,
Рассчитывающий на доброту
Случайности... И если, наблюдая,
Узнать его ты ближе захотел,
Ответила ли гордость молодая?
Иль в суете твоих вседневных дел
Ты позабыл, что этот смуглый, стройный,
Одним из нас рожденный человек
Рос на планете, где бушуют войны,
И грудью встретит свой железный век?

Уже он был жандармом схвачен в Праге,
Допрошен в Брюгге, в Бергене избит.

Уже три дня он прятался в овраге
От черной своры завтрашних обид.
Уже в предгрозье мощных забастовок
Взрослели эти кроткие глаза.
Уже свинцовым шрифтом для листовок
Ему казалась каждая гроза.

Пойдем за ним — за юношей, ведомым
По черному асфальту на расстрел.
Останови его за крайним домом,
Пока он пустыря не рассмотрел.
А если и не сын родной, а ближний
В глазах шпиков гестаповских возник,
Запутай след его на свежей лыжне
И сам пройди невидимо сквозь них.
В их черном списке все подростки мира,
Вся поросль человеческой весны.
От Пиреней до древнего Памира
Они в зловещих поисках точны.

Почувствуй же, каким преданьем древним
Повеяло от смуглого чела.
Ведь молодость, так быстро догорев в нем,
Сама клубиться дымом начала —
Горячим пеплом всех сожженных библий,
Всех польских гетто и концлагерей,
За всех, за всех, которые погибли,
Он, полурусский и полуеврей,
Проснулся для войны от летаргии
Младенческой и ощутил одно:
Все делать так, как делают другие!
Все остальное здесь предрешено.

Не опоздай. Сядь рядом с ним на парте,
Пока погоня дверь не сорвала,
По крайней мере затемни на карте
В районе Жиздры, западней Орла,
Ту крохотную точку, на которой
Ему навеки постлана постель.
Завесь окно своею снежной шторой,
Летящая над городом метель.

Опять, опять к тебе я обращаюсь,
Безумная, бесшумная,— пойми:

Я с сыном никогда не отпрощаюсь,
Так повелось от века меж людьми.
И вот опять он рядом, мой ребенок.
Так повелось от века, что еще
Ты не найдешь его меж погребенных:
Он только спит и дышит горячо.
Не разбуди до срока. Ты — старуха,
А он — дитя. Ты — музыка, а он,—
К несчастью, с детства не лишенный слуха,—
Он будущее чувствует сквозь сон.

7

Весь день он спал, не сняв сапог, в шинели,
С открытым ртом,— усталый человек.
Виски немного впали, посинели
Таинственные выпуклости век.
Я подходил на цыпочках, боясь
Дохнуть на сына. Вот он наконец
Из дальних стран вернулся восвояси,
Так рано оперившийся птенец.

Он встал, надел ремень и портупею,
Слегка меня ударил по плечу.
Наверно, думал:
«Нет. Еще успею...
Зачем тревожить? Лучше помолчу».

Последний ужин. Засиделись поздно.
Весь выпит чай и высмеян весь смех.
И сын молчит, неузнан, неопознан
И так безумно близок, ближе всех.

Какая мысль гнетет его? Как скудно
Освещена под лампой часть лица.
Меняется лицо ежесекундно.
Он смотрит и не смотрит на отца.
И все в нем недолюбленное, недо-
Любившее.
В мозгу — как звон косы,
Как взмах косы: «Я еду, еду, еду».
Он смотрит и не смотрит на часы.

Сегодня в ночь я сына провожаю.
Не знает сын, не разобрал отец,

Чья кровь стучит, своя или чужая:
Все потерялось в стуке двух сердец.
Все дело в том, что...

Стой. Но в чем же дело?
Всю жизнь я восхищался им и ждал,
Чтоб в сторону мою хоть поглядел он.
Ждал. Восхищался. Вот и опоздал.

И он прервал неконченную фразу:
— Не провожай. Так лучше. Я пойду
С товарищами. Я умею сразу
Переключаться в новую среду.
Так проще для меня. Да и тебе ведь
Не стоит волноваться.—

Но без сил,
Отец взмолился.

Было восемь, девять.
Я ровно в десять сына упросил.

Пошли мы на вокзал — таким беспечным
И легким шагом, как всегда вдвоем.
Лежал табак в мешке его заплечном,
Хлеб, концентраты, узелок с бельем.
Ни дать ни взять — шел ученик из класса
В экскурсию под выходной денек.
Мой лейтенант и вправду мог поклясться,
Что в поезде не будет одинок:
Уже в метро попутчиков он встретил.
И лейтенанты вышли впятером.
Я был шестым. Крепчал ненастный ветер,
Зенитки били. Где-то грянул гром.
Как будто дождь накрапывал. А может,
Дождь начался совсем в другую ночь...
Да что тут: был ли, нет ли — не поможет,
Тут и гораздо большим не помочь.

Мы были близко. Рядом. Сжали руки.
Сильней. Больней. На столько долгих дней,
На столько долгих месяцев разлуки.
Но разве знали правду мы о ней?

А тут же, с матерями и без близких,
С букетиками маленьких гвоздик,

Выпускники из школ артиллерийских
С Москвой прощались.
Мрак уже воздвиг
Железный грубый занавес у входа
В ночной вокзал.
Кричали рупора.
Пошла посадка...
— Сколько до отхода?
— Час? Полчаса?
— Ну, а теперь пора.
Гражданских на вокзал не пустят.
— Ну, так
Обнимемся под небом, под дождем.
— Постой.
— Прощай.
— Постой хоть пять минуток.
Пока пройдет команда, переждем.

Отец не знает, сына провожая,
Чья кровь, как молот, ухает в виски,
Чья кровь стучит, своя или чужая.

— Ну, а теперь еще раз, по-мужски.—
И, робко, виновато улыбаясь,
Он очень долго руку жмет мою
И очень нежно, ниже нагибаясь,
Простое что-то шепчет про семью:
Мать и сестру.
А рядом, за порогом
Ночной вокзал в сиянье синих ламп.

А где-то там, по фронтовым дорогам,
Вдоль речек, по некошеным полям,
По взорванным голодным пепелищам,
От пункта Эн на запад напрямик
Несется время. Мы его не ищем.
Оно само найдет нас в нужный миг.
Несется время, синее, сквозное,
Несет в охапках солнце и грозу,
Вверху синеет тучами от зноя
И голубеет реками внизу.

И в свете синих ламп он тоже синим
Становится, и легким, и сквозным —

Тот, кто недавно мне казался сыном.
А там теснятся сверстники за ним.
На загоревших юношеских лицах
Играет в беглых бликах синева,
И кубари пришиты на петлицах.

А между ними, видимый едва,
Единственный мой сын, Володя, Вова,
Пришедший восемнадцать лет назад
На праздник мироздания живого,
Спешит на фронт, спешит в железный ад.
Он хочет что-то досказать и машет
Фуражкой.
Но теснит его толпа.
А ночь летит и синей лампой пляшет
В глазах отца.
Но и она слепа.

8

Что слезы! Дождь над выжженной пустыней.
Был дождь. Благодеянье пронеслось.
Сын завещал мне не жалеть о сыне.
Он был солдат. Ему не надо слез.
Солдат? Неправда. Так мы не поможем
Понять страницу, стершуюся сплошь.
Кем был мой сын? Он был Созданьем Божьим.
Созданьем Божьим? Нет. И это ложь.

Далек мой путь сквозь стены и по тучам,
Единственный мой достоверный путь.
Стал мой ребенок обликом летучим.
В нем каждый миг стирает что-нибудь.
Он может и расплыться в горькой влаге,
В соленой, сразу брызнувшей росе.
А он в бою и не хлебнул из фляги,
Шел к смерти, не сгибаясь, по шоссе.

Пыль скрежетала на зубах. Комарик
Прильнул к сухому, жаркому виску.
Был яркий день, как в раннем детстве, ярок.
Кукушка пела мирное «ку-ку».
Что вспомнил он? Мелодию какую?
Лицо какое? В чьем письме строку?

Пока, о долголетии кукуя,
Твердила птица мирное «ку-ку»?

...Но как он удивился этой липкой,
Хлестнувшей горлом, жгуче молодой!
С какой навек растерянной улыбкой
Вдруг очутился где-то под водой!
Потом, когда он, выгнувшись всем телом,
Спокойно спал, как дома, на боку,
Еще в лесном раю осиротелом
Звенело запоздалое «ку-ку».
Жизнь уходила. У-хо-ди-ла. Будто
Она в гостях ненадолго была.
И спохватилась, что свеча задута,
Что в доме пусто, в окнах нет стекла,
Что ночью добираться далеко ей
Одной вдоль изб обугленных и труб.
И тихо жизнь оставила в покое
В траве на скате распростертый труп.

Не лги, воображенье.
                    Что ты тянешь
И путаешься?
                    Ты-то не мертво.
Смотри во все глаза, пока не станешь
Предсмертной мукой сына моего.
Услышь, в каком отчаянье, как хрипло
Он закричал, цепляясь за траву,
Как в меркнущем мозгу внезапно выплыл
Обломок мысли:
                    «Все-таки живу».
Как медленно, как тяжело, как нагло
В траве пополз тот самый яркий след,
Как с гибнущим осталась с глазу на глаз
Вся жизнь его, все восемнадцать лет.

Рви ворот свой, воображенье. Помни,
Что для тебя иной дороги нет.
Чем ты упрямей, тем они огромней —
Оборванные восемнадцать лет.
Ну, так дойди до белого каленья,
Испепелись и пепел свой развей.

Стань кровью молодого поколенья,
Любовью всех отцов и сыновей.
Так не стихай и вырвись вся наружу,
С ободранною кожей, вся как есть,
Вся жизнь моя, вся боль моя — к оружью!
Все видеть. Все сказать. Все перенесть.

Он вышел из окопа. Запах поля
Дохнул в лицо предвестьем доброты.
В то же мгновенье разрывная пуля,
Пробив губу, разорвалась во рту.

Он видел все до точки, не обидел
Сухих травинок, согнутых огнем,
И солнышко в последний раз увидел,
И пожалел, и позабыл о нем.
И вспомнил он, и вспомнил он, и вспомнил
Все, что забыл, с начала до конца.
И понял он, как будет нелегко мне,
И пожалел, и позабыл отца.
Он жил еще. Минуту. Полминуты,
О милости несбыточной моля.
И рухнул, в три погибели согнутый.
И расступилась мать сыра-земля.
И он прильнул к земле усталым телом
И жадно, отучаясь понимать,
Шепнул земле — но не губами — целым
Существованьем кончившимся: «Мать».

9

Ты будешь долго рыться в черном пепле.
Не день, не год, не годы, а века.
Пока глаза сухие не ослепли,
Пока окостеневшая рука
Не вывела строки своей последней —
Смотри в его любимые черты.
Не сын тебе, а ты ему наследник.
Вы поменялись местом, он и ты.

Со всей Москвой ты делишь траур. В окнах
Ни лампы, ни огарка. Но и мгла,
От стольких слез и стольких стуж продрогнув,
Тебе своим вниманьем помогла.

Что помнится ей? Рельсы, рельсы, рельсы.
Столбы, опять летящие столбы.
Дрожащие под ветром погорельцы.
Шрапнельный визг. Железный гул судьбы.

Так, значит, мщенье? Мщенье. Так и надо,
Чтоб сердце сына смерть переросло.
Пускай оно ворвется в канонаду.
Есть у сердец такое ремесло.

И если в тучах небо фронтовое,
И если над землей летит весна,
То на земле вас будет вечно двое:
Сын и отец, не знающие сна.
Нет права у тебя ни на какую
Особую, отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.
Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей
Не ищет сын поблажек или выгод
И в бой зовет мильоны сыновей.
И в том бою, в строю неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды, большей, чем твоя.

10

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаешься. Один. Отрешенный
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный. Не воскрешенный.
На веки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетья и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребенных.

На этом кончается повесть о сыне.

1943

СОДЕРЖАНИЕ

С 80 **Стихи Великой Отечественной.** Серия „Школьная библиотека“. Мурманск, Кн. изд-во, 1974.

200 с.

Сборник составлен в соответствии со школьной программой. В него включены стихи военных лет, опубликованные в различных изданиях.

П $\frac{0763-029}{М150(03)-74}$ 16—74

Р2

СТИХИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Составитель Г. А. Митягина

Редактор Г. П. Бритвина, художник В. В. Вагин,
художественный редактор Л. А. Овсянникова,
технический редактор А. Ф. Сергеев,
корректор З. М. Лазько



Сдано в набор 4/VI 1973 г. Подписано к печати 1/XI 1973 г. Бумага тип. № 3. Формат бумаги $84 \times 108^{1}/_{32}$. Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 9,7. Тираж 200000 (1—100000) экз. Заказ № 548.
Цена 63 коп.



Мурманское книжное издательство, г. Мурманск, Дом печати

Сортавальская книжная типография Управления по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
Совета Министров КАССР. Сортавала, Карельская, 42.

63 коп.

МУРМАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1973


СТИХИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ